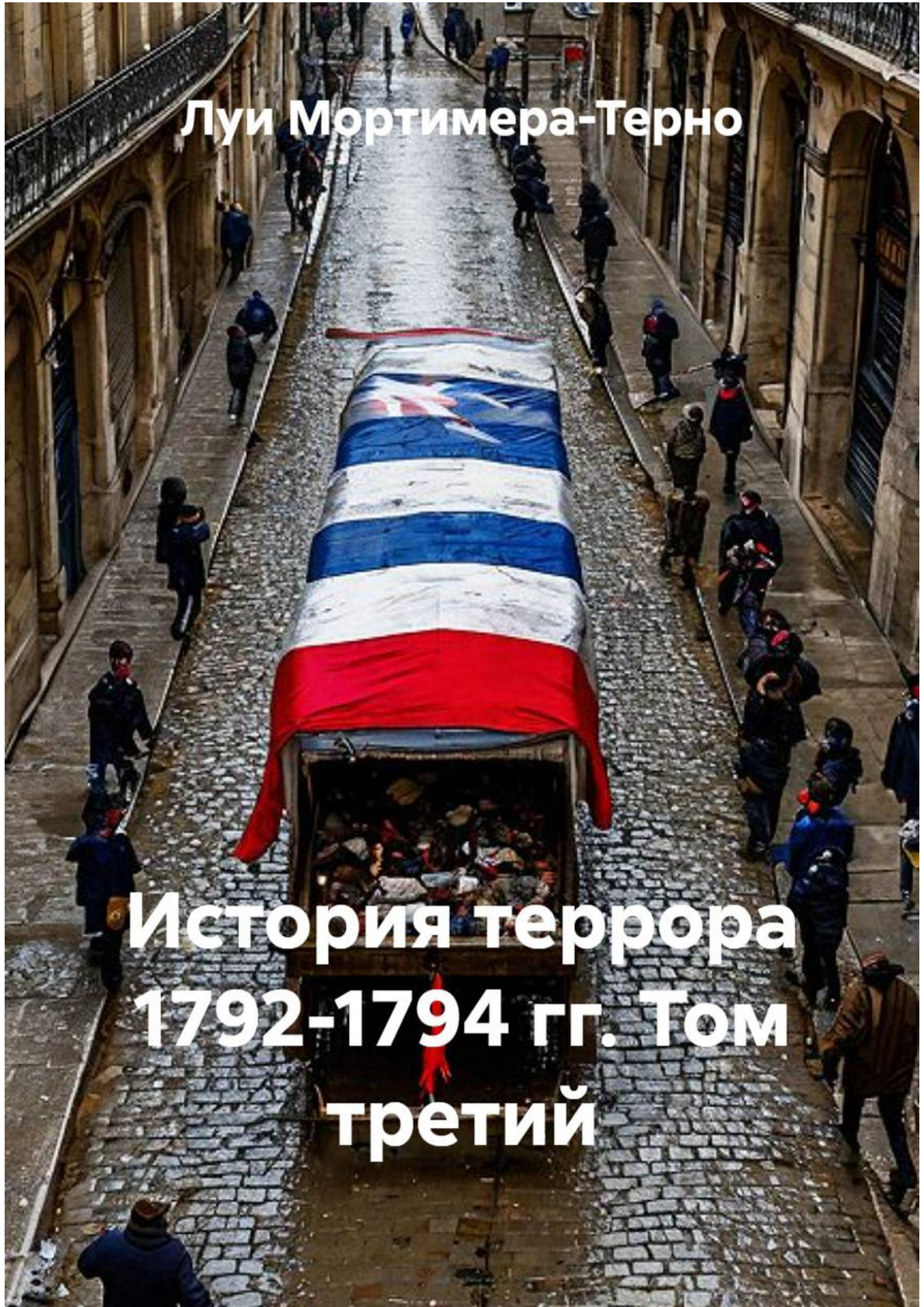




Луи Мортимера-Терно

История террора
1792-1794 гг. Том
третий

Луи Мортимера-Терно

История террора
1792-1794 гг. Том третий

«Автор»

2026

Мортимера-Терно Л.

История террора 1792-1794 гг. Том третий / Л. Мортимера-Терно — «Автор», 2026

Третий том «Истории Террора» Луи Мортимера-Терно охватывает период с 11 августа по середину сентября 1792 года — от свержения монархии до завершения сентябрьских massacres. Автор доказывает, что стихийное восстание 10 августа было немедленно использовано узкой группой заговорщиков (Марат, Дантон, Робеспьер и др.) для установления диктатуры, опиравшейся на террор. В центре повествования — подготовка и осуществление сентябрьской резни, которую Мортимер-Терно рассматривает не как народный порыв, а как хладнокровно спланированное преступление, совершенное наемными убийцами по приказу Коммуны. Автор полемизирует с историографическими традициями (Луи Блан, Гранье де Кассаньяк, Мишле), опровергая теории «стихийности» и «смягчающих обстоятельств». Основываясь на обширных архивных материалах, он показывает, что сентябрьские убийства стали началом систематического террора как метода управления и что ответственность за них лежит на конкретных лицах, движимых политическими и финансовыми мотивами.

© Мортимера-Терно Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ.	5
КНИГА IX. — НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 10 АВГУСТА 1792 ГОДА.	8
Примечания:	32
КНИГА X. — ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ И КОММУНА.	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Луи Мортимера-Терно

История террора 1792-1794 гг. Том третий

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ.

Третий том «Истории Террора» Луи Мортимера-Терно охватывает период с 11 августа по середину сентября 1792 года — то есть от непосредственно следующего за свержением монархии дня до завершения сентябрьских massacres в Париже и провинциях и убийства орлеанских заключённых в Версале. В этом томе автор завершает построение той исторической конструкции, начало которой было положено в первых двух томах: он показывает, каким образом стихийное, по видимости, восстание 10 августа было немедленно использовано узкой группой лиц для установления диктатуры, опиравшейся не на право, а на террор, и как эта диктатура сознательно довела страну до сентябрьской резни.

Том делится на пять книг (IX–XIII). В книге IX рассматриваются первые акты повстанческой Коммуны, фактическое отстранение Петиона от реальной власти, перевод королевской семьи в Тампль, закон об общей полиции от 13 августа, учреждение чрезвычайного трибунала 17 августа и первая попытка Лафайета организовать конституционное сопротивление после событий в Париже. Книга X посвящена борьбе между Законодательным собранием и Коммуной: автор прослеживает, как Коммуна последовательно подчиняет себе законодательную власть, добивается отмены декрета о собственном роспуске, организует домашние обыски 29–31 августа и утверждает свою диктатуру. В книге XI подробно разбираются подготовка и начало сентябрьской резни: роль Марата, Дантона, Робеспьера, наблюдательного комитета, набат 2 сентября, первые убийства в Аббатстве и у Кармелитов, создание «народного трибунала» Майяра. Книга XII содержит наиболее подробное в историографии описание massacres в Париже по отдельным тюрьмам — Аббатство, Консьержери, Шатле, Ла Форс, Бернардинцы, Бисетр, Сальпетриер — с указанием на продолжавшиеся до 6–7 сентября убийства. Наконец, книга XIII переносит действие в провинцию: Мо, Реймс, Шарлевиль, Кан, Куш, Лион, а затем рассказывает о судьбе Ларошфуко, Дюпора и, подробнейшим образом, об экспедиции Фурнье-Американца и убийстве орлеанских заключённых в Версале 9 сентября.

Главная историографическая проблема, с которой Мортимер-Терно вступает в этом томе в прямую полемику, — это вопрос о природе и ответственности за сентябрьские massacres. Ко времени написания труда (1862–1881) сложились две основные традиции. Первая, якобинско-романтическая, представляла сентябрьскую резню как стихийный, хотя и ужасный, взрыв народного гнева, спровоцированный военной угрозой (взятие Лонгви, осада Вердена) и изменами двора. В наиболее откровенном виде эта традиция была сформулирована ещё при жизни участников событий: сентябрьские дни объявлялись «великим актом народного правосудия» (Марра, Дюпон де Бюссак в «Fastes de la Révolution»), а у отдельных авторов — «очищением тюрем» (Эскирос в «Истории монтаньяров»). Вторая традиция, либерально-конституционная, напротив, искала виновников резни не в народе, а в конкретных политических группах, но при этом, по мнению Мортимера-Терно, нередко впадала в противоположную крайность, распределяя ответственность между жирондистами и монтаньярами в равной мере либо вообще отказываясь от точного установления виновных.

Особое место в этой полемике занимает Луи Блан. Его «История Французской революции» (том VII, 1857) попыталась дать синтетическое объяснение сентябрьским дням, однако, как показывает Мортимер-Терно, ценой серьёзных фактических ошибок. Луи Блан, с одной стороны, признаёт, что резня не была чисто стихийной, а имела организаторов; с другой — он выстраивает теорию «смягчающих обстоятельств»: по его мнению, оправдательные приго-

воры трибунала 17 августа (особенно по делам Монморена и Доссонвиля) были настолько скандальны и настолько противоречили общественному чувству, что они спровоцировали народное возмущение и тем самым способствовали вспышке насилия. Мортимер-Терно решительно отвергает эту конструкцию. Он показывает, что приговоры были строгим применением действовавшего тогда законодательства (раздельный опрос жюри о материальном факте и умысле), а не актом судебного саботажа; следовательно, версия Луи Блана о «провокационной» роли оправданий не выдерживает критики. Ещё более существенно то, что Луи Блан, следуя за Тальеном, придал неоправданно большое значение делу Жан-Жюльена, выставив его как доказательство существования реального тюремного заговора; Мортимер-Терно на основе судебного приговора показывает, что никакого заговора не было, а казнь несчастного извозчика была понадобилась именно для того, чтобы создать видимость заговора.

Второй крупный оппонент Мортимера-Терно — Гранье де Кассаньяк, автор «Истории сентябрьских дней» (1857–1858). Его труд ценен массой впервые опубликованных документов (в том числе подлинные ордера наблюдательного комитета, тюремные реестры, протоколы секций), и Мортимер-Терно охотно пользуется этим материалом, неоднократно ссылаясь на него и сверяя его публикации с оригиналами. Однако в интерпретации Гранье де Кассаньяк впадает в другую крайность: он стремится доказать, что ответственность за massacres лежит не столько на отдельных демагогах, сколько на «буржуазии» в целом, на пассивности и соучастии широких слоёв, в том числе национальной гвардии. Мортимер-Терно отвергает этот тезис с энергией, замечая, что национальная гвардия парижских секций в подавляющем большинстве не только не участвовала в убийствах, но и в ряде случаев (как в Сальпетриере 3 сентября) реально помешала им. Он указывает, что Гранье де Кассаньяк смешивает отдельные эпизоды и не учитывает хронологическую последовательность: батальон Моконсей, например, покинул Сальпетриер за восемнадцать часов до начала тамошней резни и не может нести ответственность за неё.

Третья линия, с которой спорит автор, — это революционно-апологетическая историография, представленная именами Эскироса, Мишле и отчасти Прюдома. Мишле, при всём своём моральном пафосе, для Мортимера-Терно остаётся писателем, колеблющимся между осуждением massacres и романтическим преклонением перед «народом». Показательно, что Мортимер-Терно цитирует Мишле лишь там, где тот совпадает с ним в фактических оценках (например, в описании казни Бахмана или характеристике Дантона как «жалкого раба, привыкшего прикрывать слабость дел гордостью слова»), но не принимает его общую концепцию революционного народа. Для Мортимера-Терно народ — это не те несколько сотен нанятых убийц, которых Майяр набрал в притонах, а массы, записывавшиеся добровольцами и уходившие на фронт. Поэтому он настаивает на строгом разграничении: преступление сентября не было «народным», оно было совершено от имени народа и под прикрытием муниципальной власти.

Собственная концепция Мортимера-Терно, развёрнутая в этом томе, может быть сформулирована в нескольких тезисах. Во-первых, сентябрьские massacres были заранее обдуманы и организованы; их подготовка велась по меньшей мере с 19 августа (первый призыв Марата к убийству заключённых) и получила окончательное оформление 30 августа — 2 сентября. Доказательствами служат: систематическая кампания в печати и клубах; составление проскрипционных списков на основе петиций и списков секций; сосредоточение в Париже вооружённых отрядов, в том числе марсельцев, которых сознательно задерживали в столице; наконец, точная синхронизация событий: набат, обыски, приказы об аресте жирондистов, выдача мандатов убийцам — всё это произошло в течение одних суток по единому плану.

Во-вторых, главными организаторами были не безличные «обстоятельства» и не «народ», а вполне конкретные лица: Марат, Дантон, Робеспьер, Манюэль, Эбер, Бийо-Варенн, Пани, Сержан, Фабр д'Эглантин, Камиль Демулен и узкий круг членов наблюдательного комитета.

Мортимер-Терно тщательно распределяет роли: Марат — идеолог и пропагандист резни, Дантон — политический организатор, обеспечивший прикрытие через министерство юстиции и декрет о домашних обысках, Робеспьер — вдохновитель политических доносов и тактик, устранявший противников, Манюэль, Эбер, Бийо-Варенн — исполнители на местах. При этом автор не снимает ответственности и с жирондистов, но его упрёк им иного рода: они проявили нерешительность, уступчивость, неспособность защитить закон, однако именно они были первыми жертвами задуманной резни, и поэтому версия о их «соучастии» абсурдна.

В-третьих, мотивы организаторов были двоякими: политическими и финансовыми. Политически им нужно было, во-первых, запугать страну и сделать невозможным возврат к конституционному порядку; во-вторых, обеспечить своё избрание в Конвент и господство над ним через парижскую депутацию; в-третьих, ликвидировать свидетелей и обвиняемых, чьи дела могли вскрыть их собственную ответственность за события 10 августа и предшествующие месяцы. Финансовый мотив Мортимер-Терно считает не менее важным: Коммуна и её агенты захватили огромные ценности (имущество эмигрантов, церковные сокровища, вещи арестованных), и *massacres* позволяли замести следы хищений; убийцам прямо платили из захваченных сумм, и именно этим объясняется, по мнению автора, необычайная жестокость и продолжительность резни (до 6–7 сентября).

Наконец, в-четвёртых, Мортимер-Терно выдвигает и обосновывает тезис о том, что сентябрьская резня была не изолированным эпизодом, а началом систематического террора как метода управления. Он прямо связывает *massacres* с последующей практикой революционного трибунала и с законом 22 прериаля: сентябрьские убийства были «первым заседанием» будущей машины террора, а их организаторы — первыми «децемвирами». Отсюда и полемическое заглавие всей трилогии: Террор начался не в 1793 году, а в августе–сентябре 1792 года.

Источниковая база третьего тома исключительно широка. Автор использует: протоколы Законодательного собрания, Коммуны, секций; документы наблюдательного комитета; тюремные реестры; материалы судебных процессов, в том числе обширное следствие IV года против сентябрьских убийц, которое он реконструировал по разрозненным материалам из парижских архивов и Британского музея (речь председателя уголовного трибунала Гойе); переписку министров; частные письма, в том числе найденные им письма орлеанских заключённых, отданные Фурнье и похищенные у их семей; административные счета. Многие документы публикуются впервые или впервые используются для связного рассказа. Особую ценность представляют публикуемые в примечаниях и в конце тома источники: протокол секции Люксембурга, ордера Пани и Сержана, счета расходов на убийц, письма Дюпора и материалы о его аресте, судебные акты по делу Жан-Жюльена, Монморена, Казотта, Сомбрёя.

Стилистически третий том продолжает манеру первых двух: автор соединяет строгую документальность с моралистическим пафосом. Он не скрывает своих оценок, прямо называет убийц убийцами, а их покровителей — «децемвирами», и видит в событиях сентября не только политическую, но и нравственную катастрофу. Вместе с тем он не упрощает: его рассказ о судьбе Ларошфуко, Дюпора, Байё, Вите и других деятелей, пытавшихся сопротивляться потоку, показывает, что в тогдашней Франции оставались люди, способные на мужественные поступки, но они были изолированы и обречены. Отсюда итоговый вывод тома: террор победил не потому, что был силён, а потому, что законные власти добровольно сложили с себя ответственность, а общество, ошеломлённое и обманутое, не нашло в себе сил для сопротивления.

КНИГА IX. — НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 10 АВГУСТА 1792 ГОДА.

I. Первые действия повстанческой Коммуны. — II. Петион на свободе. — Робеспьер в Ратуше. — III. Перемещение короля и королевской семьи в Тампль. — IV. Закон об общей полиции. — V. Робеспьер у барьера Собраний. — VI. Военный суд и трибунал 17 августа. — VII. Учреждение нового трибунала. — VIII. Как департаменты встречают парижскую революцию. — IX. Лафайет пытается организовать конституционное сопротивление. — X. Его поддерживают муниципалитет Седана и департамент Арденн. — XI. Лафайет арестован австрийцами. — XII. Дюмуре присоединяется к 10 августа. — XIII. Комиссары Законодательного собрания при армиях Рейна и Юга.

I

Мы уже говорили в начале этого труда и будем ещё не раз иметь повод повторить: между деспотизмом и демагогией существует тысяча точек сходства. Почти всегда одно и то же происхождение: невежество, страх и низость; одни и те же средства: ложь, насилие и устрашение; одни и те же результаты: принижение сердец и подавление воли. Пока им не удалось поглотить все живые силы нации, деспоты и демагоги тщательно скрывают свою природу и свои намерения, подкрадываясь в тени к вожакам доблести. Но едва они хитростью или насилием завладевают ею, как меняют язык вместе с осанкой, возвращают в почёт те правила, которые прежде преследовали самыми яростными обличениями, и перенимают те приёмы, которые сами же клеймили с наибольшей энергией.

Мы не пишем историю деспотизма; быть может, когда-нибудь нам будет дано в другом сочинении приоткрыть тайны, окружавшие происхождение иных властей, которые, также наглядно опровергая собственные программы, поспешили конфисковать в свою пользу народный суверенитет.

Сегодня нам предстоит показать демагогию такой, какой она явилась на другой день после своего торжества взорам наших устранившихся отцов. Никогда она не воплощалась полнее, чем в повстанческой Коммуне 10 августа. Будем судить её по делам этой знаменитой Коммуны. Посмотрим, как захватчики Ратуши понимали и применяли свободу. Узнаем, что сделали они с завоеваниями 1789 года.

Они и их друзья до сих пор только и говорили, что о человечности и филантропии; они не переставали провозглашать себя людьми чувствительными по преимуществу. Едва одержав победу, они уже не говорят ни о чём, кроме убийств и мести.

Они не жалели проклятий, клеймя знаменитое правило: «Цель оправдывает средства». Это правило становится их единственным символом веры с тех пор, как они применяют его к тому, что называют общественным спасением[1].

И нападая, и защищаясь, они всегда взывали к великому принципу личной свободы. Едва конституционный трон Людовика XVI был низвергнут, Коммуна с помощью своих наблюдательных комитетов, учреждённых в Ратуше и в каждой из сорока восьми парижских секций, организует самый чудовищный шпионаж, какой когда-либо существовал в какую-либо эпоху и в какой-либо стране. Она предоставляет право производить массовые аресты мелким чиновникам, которые завтра передоверят свои мнимые полномочия чиновникам ещё более ничтожным и жалким; она переполняет старые тюрьмы до того, что они переливаются через край, и открывает новые, которые вскоре также переполнятся, пока резня не опустошит их.

Сколькими рукоплесканиями встречались декреты Учредительного собрания, провозгласившие личную ответственность за проступки и преступления! Коммуна же предлагает

захватывать в качестве заложников детей тех, кого она — справедливо или нет — преследует своей мстостью; заимствуя у тиранов Средневековья их отвратительные приёмы, она доходит до того, что бросает в тюрьмы жён, чтобы принудить мужей явиться самим.

Право петиций было провозглашено священным правом; демагоги требовали его с беспримерной дерзостью до 20 июня и 10 августа; они злоупотребляли им, чтобы врваться в зал Национального собрания, прерывать важнейшие прения и осквернять королевское жилище. Теперь Коммуна скопом объявляет вне закона подписавших петиции, которые она называет «антигражданскими»; она предаёт их народной мести, лишает избирательных прав и объявляет недостойными занимать какую-либо должность[2].

Свобода совести была записана в конституцию при всеобщем одобрении; Коммуна требует тюремного заключения и депортации, а вскоре уже будет приказывать массовые убийства священнослужителей, которым нельзя поставить в вину ничего иного, кроме отказа принести присягу, отвергаемую их совестью.

Декларация прав, конституция и уголовные законы обеспечивали обвиняемым полную свободу защиты; в продолжение всего существования Учредительного и Законодательного собраний ораторы демагогии не переставали греметь против чрезвычайных комиссий, против «огненных палат», создание которых отмечало худшие дни королевского деспотизма. Новые властители Парижа лишают обвиняемых возможности иметь защитников, кроме тех, кто получил от их произвола свидетельство о гражданской благонадёжности[3]. Они требуют немедленного учреждения чрезвычайных трибуналов, не связанных никакими охранительными формами, освящёнными новыми законами.

А что делает Коммуна со свободой печати — первой из свобод, ибо она есть защита всех прочих? Одним постановлением она запрещает все роялистские газеты и приказывает арестовать их редакторов как отравителей общественного мнения. Не больше уважая неприкосновенность собственности, чем неприкосновенность человеческой мысли, она конфискует печатные станки и шрифты, служившие для издания этих листков, и бесплатно раздаёт их писателям, слышущим патриотами, а те не краснея обогащаются за счёт достояния своих врагов[4].

Останутся ли народные деспоты хотя бы перед тайной переписки, к которой Учредительное собрание выказывало столь щепетильное уважение? Нет. У них нет даже стыдливости абсолютных монархий, которые хоть какой-то тенью прикрывают эти позорные приёмы. Среди бела дня муниципальные уполномоченные врываются в почтовые конторы, останавливают отправку курьеров, вскрывают всю корреспонденцию.

Провозглашалось, что разделение властей — самая верная гарантия свободы. Коммуна узурпирует и сосредоточивает все власти в своих руках; она отстраняет власти, которым иерархически подчинена, и ежедневно вызывает к своему барьеру министров, судей, администраторов, которые не обязаны перед ней никаким отчётом.

Напрасно ей возражали бы, что она попирает принцип суверенитета народа, возведённый её друзьями в степень догмата. Она делает вид, что видит французский народ в народе Парижа, а народ Парижа — в нескольких тысячах бунтовщиков, которые водворили её в Ратуше и которых она держит на своих приказах и на своём жалованье. Зачем ей считаться с волей тридцати шести тысяч других коммун Франции? Разве она не Коммуна-наставница и не является ли уже потому единственно суверенной?

На Национальное собрание она смотрит теперь лишь как на регистрационную палату. Вместо почтового кнута Людовика XIV — пика в руке, с которой она приходит диктовать свою волю представителям нации. К несчастью, они будут повиноваться ей так же рабски, как великому деспоту повиновались парламенты.

Постепенное унижение Законодательного собрания, его упадок и непрестанное отступление перед захватами торжествующей демагогии — вот отличительные черты периода, в который мы вступаем. Никогда ещё историку не приходилось приподнимать завесу над эпохой,

столь запятнанной кровью и грязью; но если нет рассказа более прискорбного для написания, то нет и более полезного для размышления. Пусть же наши читатели, следуя за нами среди стольких позоров и преступлений, не проникнутся отвращением к человеческой природе и, подобно нам, никогда не откажутся в свободе.

II

Уже утром 11 августа Законодательному собранию пришлось заняться судьбой несчастных, искавших убежища в его стенах.

Чтобы сохранить жизнь королевской семьи, не находят иного средства, как вновь водворить её в ложе «Логографа» и подвергнуть той пытке, которую она уже перенесла накануне в течение двадцати часов.

Швейцарцы, сопровождавшие королевскую семью и по приказу Людовика XVI давшие себя разоружить, провели ночь в церкви Фельянов; но держать их там дольше трудно, ибо чернь, собравшаяся на окрестных улицах, не перестаёт требовать, чтобы их выдали. Сначала для всех назначается тюрьма Аббатства, но вскоре решение меняется. Поскольку за последние двадцать четыре часа от некоторых из них уже удалось получить показания, которые, по-видимому, отягчают вину нескольких их начальников, пленников разделяют на две категории: офицеров и унтер-офицеров отправляют в Аббатство, простых солдат — в Бурбонский дворец[5].

Перед их отправкой Национальное собрание издаёт декрет, которым объявляет:

что офицеры и солдаты-швейцарцы и все прочие лица, взятые народом под стражу, находятся и будут находиться под охраной закона и добродетелей французского народа;

что будет учреждён военный суд, дабы безотлагательно судить офицеров и солдат-швейцарцев, перевод которых в тюрьмы им декретирован, и что офицеры, долженствующие войти в состав этого суда, будут назначены временным главнокомандующим национальной гвардией[6].

Коммуне поручается немедленно обнародовать этот декрет на всех перекрёстках и площадях Парижа; она сопровождает его воззванием, достаточно ясно показывающим твёрдое решение ультрареволюционеров не щадить никого из своих врагов. По логике партий эти враги были виновны уже потому, что оказались побеждёнными.

«Народ-государь, — провозглашала муниципальность в трёх фразах утраченного лаконизма, — останови своё мнение; уснувшее правосудие вновь вступит сегодня в свои права; все виновные погибнут на эшафоте»[7].

Собрание ещё занималось переводом пленных швейцарцев, когда мэр, которого уже около суток оно вызывало к своему барьеру, наконец предстал перед ним и своим появлением засвидетельствовал, что те, кого он именует «сослуживцами», наконец согласились освободить его[8].

Петиона сопровождают несколько муниципальных чиновников. «Законодатели, — напыщенно восклицает один из них, — друзья народа пришли вернуть друзьям народа друга народа!»[9] Затем Петион произносит столь же банальные, сколь и напыщенные фразы, обещая от имени новой Коммуны полное повиновение декретам Национального собрания. В награду за это повиновение, в котором громогласно клянутся, но которое втайне намереваются исполнять как можно реже, Собрание спешит назначить парижской муниципальности ежемесячную субсидию в 850 000 франков. Она, как гласит декрет, предназначалась на покрытие расходов военной полиции, учреждённой при мэрии, и должна была исчисляться с 1 января 1792 года[10].

На что пошла эта сумма почти в шесть миллионов, выданная муниципальности как своего рода подъёмные, без всякой обязанности отчитываться? Одному Богу известно!

Покинув Собрание, Петион отправляется в Ратушу и обращает к своим грозным коллегам, ещё несколько часов назад державшим его под стражей, самые патетические увещевания[11] — оставаться всегда на пути мудрости и умеренности. Встреченный рукоплесканиями

и приветствиями, как в былые времена, первый магистрат Парижа воображает, что нисколько не утратил своей популярности. Но как он ошибается! За время его недолгого, наполовину добровольного плена на его место уже возведены другие вожди. Ему ещё оставляют видимость власти, но сама власть уже захвачена ими. Номинальный мэр может, если угодно, произносить речи, сочинять циркуляры и воззвания, даже собирать рукоплескания; но он более ничем не руководит и ничего не внушает. Робеспьер из тёмного угла зала, где взгляды зрителей с трудом отыскивают его, отныне правит Коммуной.

Его не видели нигде — ни в ночь с 9 на 10 августа, ни утром 10-го. Когда торжество демагогии было обеспечено, он вечером появился в зале якобинцев и принял почести своих приверженцев[12]. Наутро он добился от своей секции — секции Пик, бывшей Вандомской площади — избрания членом новой Коммуны. За шесть недель, что Робеспьер заседал в Ратуше (с 11 августа по 22 сентября), председательское кресло занимало множество членов, по большей части довольно безвестных[13]; знаменитый трибун ни разу не согласился занять его. Он исполнял временные поручения, но не принимал никакой постоянной должности. Хотя он был вовсе не прочь отправляться от имени Коммуны диктовать Законодательному собранию приказы, не допускавшие возражений, он более всего дорожил свободой действий и не желал быть прикованным ни к какой должности, сколь бы блистательной она ни была. Так он начал применять систему, которой следовал и в Конвенте: оставаясь на скамьях Собрания или в Комитете общественного спасения в некоем полумраке, откуда он мог всё видеть, оставаясь невидимым, всё слышать, не будучи обязанным говорить, и, подобно пауку, терпеливо плёл коварные сети, в которые одна за другой должны были попадаться и находить свою гибель все революционные мошки.

III

Когда пушки 10 августа ещё гремели, Законодательное собрание поспешило воззвать к французскому народу и объявить о созыве Национального конвента. 11-го числа, по докладу Гаде, оно принимает декреты, необходимые для завершения отстранения исполнительной власти и определения порядка избрания членов нового собрания.

Разделение французов на активных и неактивных граждан, установленное Конституцией 1791 года, отменяется; но сохраняются двухстепенные выборы. Чтобы быть избирателем первой степени, достаточно быть французом в возрасте двадцати одного года, прожившим в данной местности не менее года, живущим на свои доходы или своим трудом и не находящимся в услужении. Первичные собрания должны избрать то же число выборщиков, а выборщики — то же число депутатов, что и на выборах 1791 года в Законодательное собрание. Первичные собрания созываются на воскресенье 26 августа, а избирательные — на следующее воскресенье, 2 сентября. Избранные депутаты должны собраться в Париже 20 сентября.

К своим декретам об отстранении исполнительной власти и созыве Национального конвента Законодательное собрание присоединяет изложение мотивов, в котором считает нужным объяснить нации, Европе и потомству, каким образом, оказавшись между долгом хранить верность присягам и долгом спасать отечество, оно пожелало исполнить оба одновременно... Итак, оно переписывает историю последних трёх месяцев под диктовку победоносных якобинцев, порицая то, что прежде хвалило, и прославляя то, что осуждало, и, намекая, что ему будто бы силой выкрутили руки в вопросе об отстранении или низложении королевской власти, который, по его словам, следовало решать лишь после зрелого и обдуманного рассмотрения, оно вместе с тем провозглашает законность восстания, разбившего трон и держащего в порабощении само Собрание.

Ещё не произнося имени Республики, Собрание всячески старается отвести от себя подозрение в тайном сочувствии сохранению монархии[14]. Напрасно 11-го числа монтаньяр Герен напоминает ему, что надлежит назначить воспитателя дофина; напрасно 12-го петиционеры настаивают, чтобы наследник престола был отделён от семьи и снабжён особой стражей: Собра-

ние упорно отказывается обсуждать эти предложения и ограничивает свои усилия сопротивлением всё более настойчивым домогательствам Коммуны, которая, будучи полной хозяйкой Парижа, намерена оставаться единственной хранительницей особы монарха.

Королевская семья всё ещё находилась у Фельянов, принуждённая проводить дни в ложе «Логографа», а ночи — в четырёх каморках бывшего монастыря. В первые минуты женщинам королевы, мадам Елизаветы и обоим детям было позволено проходить к принцессам и оказывать им привычные заботы. Но в спешке бегства из Тюильри король и его близкие не захватили и не велели захватить ни одежды, ни денег; всё же, что не было разграблено, было опечатано. Нужда августейших пленников стала крайней; пришлось, чтобы нежная преданность нескольких друзей доставила им самые необходимые предметы.

Один офицер швейцарской сотни предложил Людовику XVI кое-какую одежду. Герцогиня де Грамон дала бельё для королевы и принцесс. Жена английского посла, графиня Гоуэр-Сазерленд, чей сын был ровесником дофина, прислала кое-какие вещи по мерке бедного ребёнка. Так сострадание иностранки пришло на помощь нищете сына стольких королей. Ибо малейший знак сочувствия этой несчастной семье уже становился поводом для подозрений; позднее он сделался основанием для проскрипции всякого, кто позволял или позволил себе такое[15].

Через час после захвата Тюильри и избиения швейцарцев повстанческая Коммуна отправила к Собранию депутацию с требованием взять Людовика XVI под стражу. На эту петицию Собрание ответило статьёй 9 декрета, принятого по докладу Верньо. Эта статья предписывала департаменту Парижа отдать необходимые распоряжения, дабы в течение двадцати четырёх часов подготовить в Люксембургском дворце помещение, где король и его семья будут содержаться под охраной граждан и закона.

Департамент спешит исполнить переданные ему предписания. Но в Люксембургском дворце он находит печати, наложенные при отъезде графа Прованского (20 июня 1791 года). Едва Собрание разрешает снять их, как возникает новое затруднение, тайно подстроенное Коммуной. Секция Четырёх Наций приходит с доносом о существовании под Люксембургским дворцом подземелий. Пока новым декретом предписывается проверить этот факт, Коммуна, которой крайне важно, чтобы декрет 10-го числа остался неисполненным, поочерёдно предлагает аббатство Святого Антония, Епископский дворец, Тампль и наконец останавливает выбор на этом последнем здании, которому плен Людовика XVI и его семьи должен был доставить такую известность. Она посылает предпринимателя-патриота Паллуа осмотреть его башни вместе с тремя муниципальными чиновниками — Пари, Лефевром и Мартеном, которым уже теперь поручает отвести туда короля. В ответ на это более чем преждевременное постановление властителей Ратуши чрезвычайная комиссия утром 12-го представляет доклад, в котором доказывает, что предложение Коммуны должно быть отвергнуто, поскольку побег из Тампля столь же лёгок, как из Люксембурга. Гораздо лучше для королевского жилища подошёл бы особняк министра юстиции на Вандомской площади. Вследствие этого декретируется, что король и его семья будут переведены в здание министерства юстиции, что им будет дана стража под началом и наблюдением мэра и главнокомандующего; наконец, что до созыва Конвента на содержание дома короля будет ассигновано 500 000 франков.

Декрет недвусмыслен. Но Коммуна не считает себя побеждённой. Манюэль и Петион являются к барьеру в окружении многочисленной депутации. Генеральный прокурор-синдик заявляет, что муниципальность не может ручаться за безопасность короля нигде, кроме Тампля, изолированного и окружённого высокими стенами. Петион, привыкший поддерживать всё, что говорит его друг и наперсник, подтверждает слова Манюэля, и, устав от борьбы, национальное представительство терпит унижение — ещё до конца дня отменяет то, что утром торжественно декретировало.

Новый декрет поручает охрану короля и его семьи «добродетелям граждан Парижа». Только из остатка стыдливости и чтобы не казаться исполняющим приказы Коммуны, Тамплль в нём не назван; довольствуются тем, что поручают представителям муниципальности безотлагательно и под их ответственность позаботиться о помещении для королевской семьи и приказывают им принять все меры безопасности, каких могут потребовать благоразумие и государственный интерес.

Коммуна спешит отпраздновать своё торжество, расклеив по всему Парижу воззвание, которое её комиссары представили Национальному собранию, и декрет, который Собрание дало у себя вырвать.

Вечером 13 августа совершается перевод королевской семьи от Фельянов в Тамплль. Для этого печального переезда служат две придворные кареты. Как и при возвращении из Варенна, Петион садится в королевскую карету; но Барнава рядом уже нет. Пятнадцать месяцев назад король был пленником ещё только нравственно; сегодня не остаётся ни сомнений, ни иллюзий. Королевский кортеж при въезде в Париж 25 июня 1791 года был встречен глубоким и скорбным молчанием; 13 августа 1792 года его сопровождают вопли и рёв обезумевшей черни.

В Тампле августейших пленников принимают с рассчитанной дерзостью муниципальные уполномоченные; их временно помещают в нескольких комнатах без мебели в малой башне, некогда служивших жильём хранителю архивов Мальтийского ордена[16].

Вечером комиссары Коммуны вновь появляются у барьера Собрания и объявляют, что они оказали Людовику XVI и его семье всё уважение, подобающее несчастью и особенно королю, и что по согласованию с ним отдали все необходимые распоряжения, дабы он был размещён прилично и удобно.

Так в официальном языке ещё сохранялись формы, которые уже не соблюдались на деле; но и Собрание, и Коммуна вскоре должны были исправиться от этих внешних уступок.

IV

Уже несколько месяцев чрезвычайной комиссии было поручено разработать закон о так называемой общей полиции, признанная цель которого состояла в том, чтобы изъять политическую полицию из рук мировых судей, подозреваемых в роялизме, и передать её муниципалитетам, казавшимся более склонными вступить на революционные пути. Докладчик Жансонне уже добился принятия нескольких статей в первые дни августа. 11-го поспешили принять остальные.

Статья I нового закона возлагала на муниципальные органы розыск преступлений против внешней и внутренней безопасности государства. Статья II призывала граждан доносить на заговорщиков и подозрительных. Статья III давала муниципальным чиновникам право удостоверяться в составе преступления и задерживать лицо обвиняемого, если к тому есть основания. В силу статьи VIII всякий представитель публичной силы и даже всякий активный гражданин мог привести в муниципалитет человека, сильно подозреваемого в преступлении против общей безопасности, под ответственность должностного лица или простого гражданина в случае злонамеренных действий или желания навредить.

Муниципалитеты, правда, были обязаны в течение двадцати четырёх часов пересылать в окружные советы документы, протоколы или допросы, обосновывающие ордера на арест граждан. Эти документы должны были передаваться округами в департаменты, а теми — в законодательный корпус. Но кто не видит, какой бесконечной медлительности на деле подвергалась пересылка зачастую объёмистых бумаг, которые, пройдя каждую ступень административной иерархии, в конце концов должны были погребаться в картонках Собрания? В действительности это означало отдать свободу, а порой и жизнь граждан на произвол слепых предубеждений и насилия частной ненависти.

Если применение такого закона было опасно повсюду, то в Париже оно могло стать лишь гибельным, ибо закон передавался в руки муниципальности, у которой не было иного права

на существование, кроме дерзости, и которая уже потому должна была пользоваться и злоупотреблять всеми чрезвычайными полномочиями, оказавшимися в её распоряжении. Едва роковой закон был издан, как сами его инициаторы заметили, какой силой они только что вооружили Парижскую коммуну. Но они стали надеяться, что всё ещё можно исправить, если удастся оживить промежуточный орган, поставленный законодателем 1791 года над муниципалитетами для надзора за их действиями, то есть совет департамента. К несчастью, Собрание само сильно способствовало подрыву авторитета этого органа, когда тот, имея во главе почтенного герцога де Ларошфуко, вступил в борьбу с муниципальностью.

Чтобы придать парижскому департаменту новую силу, сочли нужным переплавить его состав в народных выборах. Надеялись таким образом смягчить последствия того нравственного урона, который был нанесён этому промежуточному органу, и опасности закона, только что столь опрометчиво принятого. Но к чему служат паллиативы такого рода?

Опыт наших семидесяти лет революций слишком часто это доказывал. Во имя общественного спасения наскоро сочиняются законы или даже конституции, наделяющие одно лицо или один орган чрезмерными полномочиями. Правда, при этом стараются обставить осуществление этих полномочий дополнительными условиями, которые, как уверяют, должны нейтрализовать все опасности; но едва закон издан, конституция принята, ловкие люди тем или иным способом устраняют эти дополнительные условия, эти пресловутые паллиативы, в действительность которых простодушные законодатели вложили всю свою веру. Остаются одни главные положения, которые и становятся отличным орудием тирании. Именно так произошло и в этом случае.

V

Для формирования нового совета департамента двухстепенные выборы отменялись. Каждая из сорока восьми парижских секций и каждый из шестнадцати сельских кантонов должны были напрямую избрать одного департаментского администратора.

Власть, перед которой пришлось бы отчитываться о ежедневно производимых массовых арестах, не могла устраивать диктаторов из Ратуши. Правда, она должна была назначаться, по крайней мере в значительной части, теми самыми секциями, которые они вдохновляли и держали в подчинении, и осуществлять над их действиями лишь призрачный надзор. Неважно! В праве, если не на деле, восстанавливался контроль, а повстанческая Коммуна намеревалась оставаться абсолютной государыней. Не колеблясь, не теряя ни мгновения, она рассылает комиссаров по сорока восьми секциям, призывая их братски приостановить выборы, которые те готовились произвести согласно новому закону. Одновременно она поручает депутации во главе с Робеспьером сообщить представителям народа, что последний изданный ими декрет не нравится спасителям отечества и что им надлежит его отозвать.

«Генеральный совет Коммуны, — говорит наглый демагог, — посылает нас к вам по предмету, касающемуся общественного спасения. После великого акта, которым народ-государь только что завоевал свою свободу, между народом и вами не может более существовать никакого посредника. Народ, вынужденный сам заботиться о своём спасении, обеспечил свою безопасность через своих уполномоченных. Поскольку надлежит развернуть самые энергичные меры для спасения государства, необходимо, чтобы те, кого он сам избрал своими магистратами, обладали всей полнотой власти, подобающей государю; если же вы создадите другую власть, которая будет господствовать над властью непосредственных уполномоченных народа или уравнивать её, то народная сила перестанет быть единой, и в механизме вашего правительства возникнет вечный зародыш раскола, который вновь внушит врагам свободы преступные надежды. Народу придётся, дабы избавиться от этой силы, разрушающей суверенитет, ещё раз вооружиться мстью!..

Когда народ спас отечество, когда вы назначили Национальный конвент, который должен вас заменить, — что вам остаётся делать, как не удовлетворить его волю? Боитесь ли вы поло-

житься на мудрость народа, бодрствующего над спасением отечества, которое может быть спасено только им? Сохраните нам средства спасти свободу; так вы разделите славу героев, соединившихся ради счастья человечества; так, приближаясь к концу вашего поприща, вы унесёте с собой благословения свободного народа...»

При этих грозных словах трибуны рукоплещут, представители молчат. Тюрио формально требует, чтобы для восстановления согласия между национальным представительством и Парижской коммуной декрет, изданный утром, был немедленно отозван. Лакруа предлагает средний путь, который, по его словам, всё примиряет: достаточно, говорит он, чтобы Директория департамента осуществляла надзор за действиями муниципальности лишь в том, что касается государственных сборов, секвестра имущества эмигрантов, национальных имуществ и прочих предметов общего управления.

Если суть была полностью уступлена, то форма по крайней мере соблюдена, а это всё, чего хотело малодушное Собрание, без слов принимающее предложение Лакруа. Будет ли это последней жертвой, требуемой от его достоинства, убеждений, совести? Нет, ибо на этом пути тот, кто чувствует свою силу, никогда не устаёт требовать, а тот, кто признаёт свою слабость, никогда не устаёт уступать[17].

VI

Собрание, как мы видели, декретировало образование военного суда для разбора деяний, которые называли «преступлениями 10 августа». Но этот суд, очевидно, был правомочен рассматривать лишь деяния, теснейшим и прямым образом связанные с военными событиями того дня. Собрание понимало это настолько хорошо, что 13-го числа отослало в верховный суд Орлеана Барнава, Александра Ламета и бывших министров Дюпортейля[18], Дюпора-Дютертра, Бертрана де Мольвиля, Монморена и Тарбе, которых, по-видимому, уличали некоторые бумаги, найденные в секретере Людовика XVI и публично оглашённые Гойе.

Военному министру, а вернее Клавьеру, министру финансов, который в отсутствие Сервана исполнял его обязанности, было поручено заняться формированием военного суда. Но вскоре он пришёл предупредить чрезвычайную комиссию, что не может добиться от Сантерра назначения офицеров, которым надлежало составить этот суд и выбор которых был доверен главнокомандующему национальной гвардией и вооружёнными силами Парижа.

Повстанческая Коммуна, в самом деле, вовсе не желала военного суда, чьи полномочия ограничивались бы собственно военными действиями. Ей нужен был чрезвычайный трибунал, который, обладая общими полномочиями и неограниченной юрисдикцией, мог бы стать послушным орудием её мести. Так как дополнительный к декрету 11-го числа закон должен был определить все формы, которым надлежало следовать военному суду, она ждала обнародования этого второго декрета, чтобы обличить перед гневом ультрареволюционеров робость и нерешительность своей соперницы. Но вскоре она теряет терпение и утром 14-го посылает двух комиссаров требовать от Национального собрания немедленного решения: «Если декрет не будет издан, — говорят они, — наше поручение — дожидаться его»[19]. Даже Гора возмущается такой наглостью. Чтобы показать, сколь далеко заходит недоброжелательство Коммуны, Эро-Сешель объявляет, что чрезвычайная комиссия просила муниципальных уполномоченных прийти и совещаться с ней о затруднениях, созданных Сантерром, но уполномоченные не сочли нужным явиться. Тем не менее Тюрио, всегда служащий органом тайных желаний Коммуны, спешит потребовать, чтобы Собрание отозвало декрет о формировании военного суда и чтобы всё, что касается придворных заговоров, судилось обычными судами. «Поскольку есть присяжные, не пользующиеся доверием нации, — добавляет он, — я требую, чтобы вы уполномочили каждую из сорока восьми секций назначить двух присяжных обвинения и двух присяжных суда»[20].

Предложения Тюрио принимаются в принципе. Собрание могло полагать, что Коммуна будет удовлетворена, ибо ей уступили упразднение военного суда ещё до его создания и избра-

ние новых присяжных парижскими секциями. Но не тут-то было. Учреждая новых присяжных для преступлений 10 августа, то есть заставляя побеждённых этого дня судить так называемыми победителями, руководство прениями оставляли обычным судам, то есть уголовным трибуналам, учреждённым законом 29 сентября 1791 года. Эти трибуналы, естественно, обязаны были следовать формам, установленным этим законом: обвинительное жюри, судебное жюри, кассационное обжалование, право отвода, срок для вызова свидетелей и т. д. А эти уголовные трибуналы, существовавшие уже год, в числе шести в Париже, состоявшие из судей, избранных при конституционном режиме, были подозрительны ультрареволюционерам. Следовательно, нельзя было останавливаться на этом — надо было извлечь все следствия из посылок Тюрио.

Утром 15 августа Робеспьер является к барьеру Собрания во главе многочисленной делегации. Во имя общественного спокойствия и свободы он заявляет, что недостаточно покарать преступления, совершённые в день 10 августа, — необходимо распространить месть народа на всех заговорщиков.

«Самые виновные, — продолжает муниципальный трибун, — не появлялись в этот день, и по закону, который вы только что издали, наказать их было бы невозможно. Эти люди, прикрывавшиеся маской патриотизма, чтобы убить патриотизм, эти люди, говорившие языком законов, чтобы ниспровергнуть все законы, этот Лафайет, которого, быть может, и не было в Париже, но который мог там быть[21], — неужели они избегнут народной мести?..

Вы не должны давать народу законы, противные его единодушной воле. Избавьте нас от конституционных властей, которым мы не доверяем; упраздните эту двойную ступень юрисдикции, которая, создавая проволочки, обеспечивает безнаказанность. Мы требуем, чтобы виновных судили уполномоченные, взятые из каждой секции, суверенно и в последней инстанции».

Шабо тотчас превращает требования Робеспьера в предложение. По призыву этих двух людей, вполне достойных понимать и поддерживать друг друга, Собрание декретирует принцип образования народного суда, а для его осуществления поручает чрезвычайной комиссии немедленно представить доклад.

Таким образом, петиция Робеспьера и Коммуны оказывалась переданной Бриссо и его друзьям. Что они станут делать? Облекут ли они волю мятежников из Ратуши в статьи закона? Принесут ли Собранию чудовищный кодекс скорого правосудия, программу которого только что начертал трибун, уже их соперник, а вскоре их палач? Их гордость возмущается против стольких унижений. Они полагают доказать своё мужество, уступив властной Коммуне лишь половину требуемого. Два главных пункта, на которых настаивали муниципальные комиссары, — отмена кассационного обжалования и избрание новых судей для ведения прений. Чрезвычайная комиссия решает уступить в первом и воспротивиться во втором; своё согласие она закрепляет в проекте декрета, а отказ — в проекте воззвания, которое Бриссо читает днём того же 15 августа.

Жирондисты не замечали, что уступают существенное, а отказывают во второстепенном. Ибо отменить кассационное обжалование значило отнять у обвиняемых самую серьёзную гарантию, предусмотренную в их пользу новым законодательством; значило наглядно опровергнуть все принципы, положенные в основу реформы наших уголовных законов; значило открыть путь самым ужасным поспешностям и самым вопиющим нарушениям закона.

Воззвание, представленное Бриссо, благородно и даже красноречиво. В нём отстаивается применение великих принципов, во имя которых совершалась Французская революция; в нём клеймятся «огненные палаты», которые некоторые люди, по-видимому, хотят заимствовать у деспотизма[22]. Но в конечном счёте, хотя фразы искусного публициста были единодушно одобрены Собранием, напечатаны, расклеены и разосланы по секциям, они не производят никакого действия. Пока парижское население равнодушно читает их, декрет, лишаящий

обвиняемых драгоценнейшего из прав, заносится в «Бюллетень законов» и становится первой главой кровавого кодекса, которому в течение двух лет предстоит направлять приговоры демагогического правосудия[23].

Коммуна могла бы удовлетвориться стольким самоотречением; но она исповедовала правило: ничто не получено, пока остаётся хоть что-нибудь получить. 16-го она позволяет секциям избрать новых присяжных обвинения и суда; 17-го с самого утра она посылает к барьеру Собрания депутацию, чей оратор произносит слова ещё более дерзкие, чем все, сказанные до сих пор[24].

«Как гражданин, как магистрат народа, я пришёл объявить вам, что сегодня в полночь ударит набат, забьют сбор, и весь народ поднимется во второй раз.

Как! Аристократия снова поднимает свою отвратительную голову среди вас?.. Разве начала правосудия различны для народа-государя и для тиранов?..

Присяжные обвинения и суда, которых вы декретировали, уже назначены; они готовы, но нет судей, чтобы применять закон; уголовный трибунал утратил доверие народа... Я требую, чтобы вы, не расходясь, декретировали избрание по одному гражданину от каждой секции для немедленного образования уголовного трибунала...

Я требую, чтобы дворец Тюильри стал храмом, откуда правосудие будет изрекать приговоры, должные мщению народа-государя.

Я требую, чтобы Людовик XVI и Мария-Антуанетта, столь жадные до крови, могли вволю насытиться ею, глядя, как льётся кровь их гнусных сообщников...

Вы обещали правосудие французскому народу — вы его дадите; он ждёт, и тогда он увидит в вас достойных представителей и верных истолкователей державной воли».

Такие грубости не могли остаться без протестов в самом Собрании. Даже монтаньяр Шудё заявляет, что воззвания, составленного Бриссо, достаточно и что никакой инквизиционный трибунал учреждать не следует; Тюрио бросает слова негодования, которые история должна ему зачесть среди падений, отметивших его политическую карьеру.

«Нельзя допустить, чтобы несколько человек, не знающих истинных принципов... подменяли общую волю своей частной волей... Я требую, чтобы Законодательный корпус выказал решимость скорее умереть, чем потерпеть малейшее посягательство на закон... Я люблю свободу, я люблю революцию; но если бы для её упрочения потребовалось преступление, я предпочёл бы заколоть себя... Революция совершается не только для Франции — мы ответственны за неё перед человечеством».

Прекрасные слова, но каковы были их последствия? Увы, это были последние звуки сопротивления, которое вот-вот должно было угаснуть. И действительно, является депутация граждан, избранных накануне секциями для образования судебного и обвинительного жюри:

«Вы, по-видимому, пребываете во тьме относительно того, что происходит в Париже!.. Если через два-три часа присяжные не будут в состоянии действовать, великие беды пройдут по Парижу».

Перед этими угрозами остаток энергии, ещё, казалось, одушевлявший Собрание мгновение назад, исчезает. Эро-Сешель, у которого в кармане лежал уже готовый декрет в духе требований Коммуны, поднимается на трибуну и предлагает создать новый трибунал для преступлений, совершённых в день 10 августа, оставив наряду с ним прежние уголовные трибуналы, которые будут по-прежнему разбирать обычные преступления и проступки. Таким образом, осмеливается он говорить не краснея, не будет нанесено никакого ущерба строгости принципов и вечно священным правам свободы.

Собрание привыкло довольствоваться звонкими словами; оно не старается вникнуть в суть проекта, представленного Эро-Сешелем, и с поспешностью принимает его.

Согласно этому декрету, новый трибунал, сохранивший в истории название трибунала 17 августа, делился на два отделения и включал восемь судей, восемь заместителей, двух обще-

ственных обвинителей, семь председателей жюри, четырёх секретарей, восемь помощников секретаря и двух национальных комиссаров. Эти последние были единственными, кого должен был назначать временный исполнительный совет; все прочие должности были выборными. Однако их не решились избирать в парижских секциях, как избирали присяжных, ибо в Конституции, которой всё ещё хотели делать вид что уважают, имелось прямое постановление, что судьи не могут избираться непосредственно, а лишь избирательным корпусом, составленным из выборщиков второй степени, поскольку такой корпус считался дающим больше гарантий просвещённости и опытности, чем первичные собрания. Затруднение обошли. Декрет гласил, что для образования корпуса, которому надлежит избирать должностных лиц нового трибунала, каждая парижская секция выберёт одного выборщика большинством голосов. Таким образом, самое большее сорок восемь человек призывалось заместить тридцать семь выборных должностей нового суда; выборщики не преминули избрать самих себя или по крайней мере назначить своих ближайших друзей.

Первый революционный трибунал был создан. Это была в полном смысле слова настоящая «огненная палата», созданная для обслуживания ненависти и мщения сильных дня. Одним скачком ультрареволюционеры преодолели всё расстояние, отделяющее принципы 1789 года от приёмов какого-нибудь Людовика XI или Ришелье.

VII

Декрет 17 августа закреплял торжество Коммуны, поэтому он не мог не получить самого скорого исполнения. С одной стороны, заправила Ратуши хотели быть уверены, что найдут в новых судьях верных и преданных выразителей всего их гнева; с другой — новые места, только что созданные, были не лишены привлекательности для алчности и честолюбия второстепенных заговорщиков, ещё не обеспеченных доходными должностями.

Собрание издало декрет 17-го утром. Не дожидаясь его правильного обнародования, а тем более законного созыва секций, друзья парижских диктаторов спешат во всех преданных им секциях приступить к избранию выборщика, которому надлежит участвовать в назначении членов нового трибунала.

Поскольку необходимое для действительности такого избрания число граждан не было указано, видимость голосования, произведённого ничтожным меньшинством, оказывается достаточной для облечения всеми полномочиями секции заранее назначенного доверенного лица. Менее чем через двенадцать часов после решения Собрания тридцать три выборщика, избранные более или менее правильным образом, собираются в Ратуше. Там, не дожидаясь коллег, которых ещё не уведомлённые секции могли бы им дать, когда уже будет поздно, они проводят ночь, производя тридцать семь отдельных голосований, каждое из которых должно заместить одну из новых должностей. 18-го, к шести часам утра, всё закончено.

В тот же день лицам, избранным в состав этого столь странно импровизированного трибунала, сообщается, чтобы они явились вступить в должности, доверенные им народной волей[25]. В пять часов вечера парижский мэр вводит их во Дворец правосудия, в большой зал Святого Людовика[26].

Восемью судьями были Ослен, Матьё, Пепен-Дегруэт, Лаво, Вилен-Добиньи, Дюбай, Коффиналь, Девьё — все заслуженные якобинцы[27].

Робеспьер был избран первым судьёй, но отказался. Трибун ни за что не хотел в этот момент покидать генеральный совет Коммуны, откуда его исключило бы принятие должности. Для его будущего влияния, оставшись в судейском кресле, он ничего не выигрывал, а терял многое. Когда несколько дней спустя его стали упрекать за этот отказ, Робеспьер объяснился сам в письме[28], которое поспешил обнародовать. «Я с самого начала революции, — писал он, — боролся с большинством этих преступников против нации; я обличал большинство из них... я не мог быть судьёй тех, чьим противником был, и должен был помнить, что если они были врагами отечества, то были также и моими!»[29] Затем он добавлял, открывая тем самым

глубину своей мысли: «Исполнение этих новых обязанностей было несовместимо с обязанностями представителя Коммуны... Я остался на том посту, где был, убеждённый, что именно там я должен сейчас служить отечеству».

Вступление в должность трибунала 17 августа ознаменовалось смехотворной комедией, достойной эпохи, когда уже умели так хорошо применять искусство — с тех пор, правда, усовершенствованное — прикрывать внешностью смехотворной ответственности самый неограниченный деспотизм. Судьи, присяжные, общественные обвинители, секретари и прочие, проводив мэра и муниципалитет, остановились на пороге дворца и там, взойдя на помост, произнесли сакраментальную формулу, определённую особым постановлением Коммуны:

«Народ, я такой-то, из такой-то секции, проживающий там-то: имеешь ли ты что-либо возразить мне, прежде чем я получу право судить других?»

Как и следовало ожидать, никто не явился оспаривать гражданскую благонадёжность этих судей. Черпая новую силу в этом торжественном утверждении, они возвращаются в зал своих совещаний и спешат обратиться к Национальному собранию с просьбой издать закон, дабы расширить круг их полномочий, ускорить судопроизводство и ещё более ограничить право обвиняемых на защиту.

Собрание спешит удовлетворить их требование, и новый декрет от 19-го числа дополняет декрет 17-го.

Под предлогом, что законные сроки замедляют ход правосудия, не принося пользы обвиняемому, последнему отныне должны сообщать список свидетелей лишь за двенадцать часов вместо двадцати четырёх. Предварительный допрос у особо назначенного судьи отменялся. Требовалось лишь спросить обвиняемого, имеет ли он защитника, и дать ему такового по назначению, если не имеет. Ему оставлялось только три часа для заявления отводов присяжным. Наконец, законный трёхдневный срок между приговором и исполнением отменялся.

Трибунал 17 августа был готов действовать; оставалось лишь позаботиться об исполнении его приговоров. Коммуна и здесь упредила события: предвидя, что гильотина скоро заработает, она поспешила постановить 16 августа, что преступление должно караться там, где было совершено, и что поскольку преступления против суверенитета народа разразились в Тюильрийском дворце, приговоры нового трибунала будут приводиться в исполнение на Карусельной площади.

Пожар 10 августа уже начал расчищать место; молот разрушителей быстро довершил дело, и страшную машину удалось установить напротив опустошённого дворца.

Первой головой, которую она снесла, была голова несчастного учителя чистописания, бывшего служащего секретариата управления национальной гвардии, Коллено д'Ангремона, обвинённого в вербовке сторонников в пользу двора. Нужно было много доброй воли, чтобы превратить этого беднягу в главу заговора; но о заговорах говорили так громко — требовалось любой ценой найти заговорщиков.

Что может быть удобнее, чем прикрыть собственные козни, приписав их тем самым людям, которые только что попались в них? В истории наших революций не раз бывало, что победители вменяли побеждённым и заставляли их искупать преступления, совершённые ими одними.

Казнь несчастного Коллено д'Ангремона состоялась 21 августа, в десять часов вечера, при зловещем свете факелов; печальное открытие революционного эшафота!

VIII

Пока две власти, оставшиеся друг против друга после падения конституционного трона Людовика XVI, ежедневно и по каждому вопросу вели ожесточённую борьбу, — что происходило в остальной Франции и особенно в армиях, стоявших на крайней границе перед лицом коалиционных войск?

Весть о революции 10 августа была встречена с оцепенением во многих департаментах. Несколько генеральных советов колебались обнародовать декреты, принятые явно под давлением мятежа, поскольку они находились в прямом противоречии с теми, которые Собрание, ещё свободное, издало за несколько дней до того.

Соппротивление департаментов едва отмечено историками, писавшими до нас, потому что, кроме Седана, оно оставило мало следов, а его инициаторы после неудачи постарались уничтожить документы, которые могли бы их без пользы скомпрометировать. Однако по отдельным указаниям, рассеянным в самом «Монитёре», нетрудно заметить, что революция 10 августа не была принята во всей Франции с тем единодушием, о котором говорят некоторые писатели.

В Меце генеральный совет департамента Мозель в течение нескольких дней обсуждал вопрос, могут ли декреты, изданные 10 и 11 августа Законодательным собранием, быть обнародованы до облечения их в формы, предписанные Конституцией[30], то есть до подписания их королём, которого они отстраняли, и его министрами, которых они заменяли.

В Нанси и Руане конституционные власти выказали не меньше колебаний.

В Амьене генеральный совет департамента Сомма объявил 12 августа, что не признаёт никакого официального характера за различными актами, присланными ему от имени председателя Собрания[31].

В Страсбурге мэр Дитрих, значительная часть генерального совета коммуны и генеральный совет департамента выказали величайшее нежелание исполнять декреты Собрания[32].

Генеральный совет Верхнего Рейна выпустил воззвание такого содержания:

«Отечество в величайшей опасности; но Людовик XVI добр и справедлив, он вернёт общественное доверие. Мы будем поддерживать королевскую власть и защищать Национальное собрание и конституционного короля. Враг у наших ворот. Сохраняйте спокойствие и мужество. Сплотитесь вокруг нас»[33].

Генеральный совет департамента Эндр в воззвании от 12 августа заявил, что его глубокая скорбь не позволяет ему доискиваться истинных мотивов закона 10 августа, но что он считает необходимым осведомить округа и муниципалитеты о нынешнем состоянии правительства и о непосредственной опасности для общественного дела[34].

Законодательное собрание поняло, что нужно решительными мерами пресечь эти колебания, прежде чем они превратятся в громкие протесты. Оно вызвало к своему барьеру генерального прокурора департамента Нижней Сены, который явился с извинениями и от имени совета обещал слепое повиновение приказам национального представительства[35].

Так же оно поступило со страсбургским мэром Дитрихом[36]. Но тот, успокоив волнения, вызванные его отставкой, не счёл нужным подражать генеральному прокурору Нижней Сены и в течение нескольких месяцев уклонялся от преследований своих врагов.

Собрание приказало, чтобы генеральный прокурор-синдик и председатель директории департамента Мозель были доставлены в Париж жандармерией, от бригады к бригаде; наконец, по предложению Лакруа, оно отослало в уголовный трибунал департамента председателя, генерального прокурора и секретаря департамента Сомма.

По совпадению, достойному внимания, несколько главных вожakov демагогии в департаментах находились в Париже в момент революции 10 августа. Давно уже боровшиеся с конституционными властями, они прибыли жаловаться Собранию на мнимые преследования, жертвами которых якобы стали. Естественно, они искали покровителей и опоры среди заправил клуба на улице Сент-Оноре и деятельно участвовали в тайных сходах, подготовивших восстание. Среди них были Филибер Симон, викарий конституционного епископа Страсбурга; Антуан, мэр Меца, и Шалье, муниципальный чиновник Лиона. Дитрих выслал Симона из Страсбурга за его демагогические происки. Антуан и Шалье были отстранены генеральными

совета́ми департаментов Мозель и Рона-и-Луара за весьма тяжкие деяния, совершённые ими при исполнении обязанностей.

После 10 августа трое «гонимых патриотов» меняют поведение. Вчера просители — сегодня обвинители. Они уже не просят правосудия, они требуют мести.

Собрание, которое ни в чём не смеет отказать парижским демагогам, оказывается столь же услужливым и к департаментским.

11 августа оно возвращает Антуану его должность и распускает директорию департамента Мозель, отстранившую его.

16-го по доносу Симона оно вызывает к барьеру и отстраняет страсбургского мэра.

В тот же день Шалье, которого восхваляют Шабо и Фоше, с почётом восстанавливается в своих муниципальных должностях. Ему предстояло, как мы увидим позднее, вновь развернуть всю свою демагогическую дерзость, навлечь на Лион ужасные бедствия и стяжать страшную известность.

Министр внутренних дел Ролан спешит дополнить меры, принятые Собранием, добиваясь от временного исполнительного совета отставки не только трёх генеральных советов департаментов Мозель, Сомма и Рона-и-Луара, но и множества других директорий и советов департаментов, которые после 20 июня и даже после 10 августа проявляли конституционные настроения[37].

IX

Напомним: вечером 10 августа Национальное собрание назначило двенадцать комиссаров, которым надлежало немедленно отправиться добиваться от армий признания революции, совершённой в Париже. Понадобилось двадцать четыре часа, чтобы составить и переписать бумаги, которые они должны были везти.

Их инструкции были подготовлены чрезвычайной комиссией совместно с военным комитетом. Чтобы разноречие версий не сделало слишком явной ту ложь, которую необходимо было распространять, требовалось снабдить двенадцать комиссаров единообразным рассказом. Но, как видно, сразу не нашлось среди законодателей ни достаточно покладистой памяти, ни достаточно искусного пера, чтобы составить рассказ о событиях, которые надлежало объяснить и заставить принять. К тому же кому принадлежит право составлять бюллетень сражения, как не самим победителям? Кто лучше повстанческой Коммуны и её послушного орудия мэра Петрона мог ознакомить армии с подробностями знаменитого дня? Комиссары и обратились за этим трудным сочинением к Коммуне и мэру[38].

Когда готовый рассказ был прислан им из Ратуши и инструкции пополнены, двенадцать комиссаров выехали в ночь с 11 на 12 августа по четырём разным направлениям (Север, Северо-Восток, Рейн и Юг). Они были уполномочены временно отстранять и приказывать арестовывать всех гражданских и военных должностных лиц, даже армейских генералов, если того потребуют обстоятельства.

Из всех этих генералов самым подозрительным для победившей партии был — и не без оснований — Лафайет[39], чья главная квартира находилась в тот момент под стенами Седана. Тремя комиссарами, в чей округ входил его армейский корпус, были Керсен, Антонель и Перальди. Их миссия охватывала осмотр войск, расположенных между Мобёжем и Бичем, и им предстояло посетить поочерёдно Лафайета и Люкнера. Они поехали прямой дорогой на Седан; первой их остановкой был Суассонский лагерь, о котором столько говорили последние два месяца. Им надлежало удостовериться в численности и состоянии уже собранных волон­тёров.

Пока они там задерживаются, перенесёмся в Седан и посмотрим, что там происходит. Лафайет получил первые известия о парижском восстании от одного из своих офицеров, которому вечером 10-го удалось перебраться через городскую стену столицы и который во весь опор примчался доложить ему о событиях, коих был свидетелем. Целую ночь он был един-

ственным во всей армии, кто знал, что народ стал хозяином Тюильри, а король отрешён от власти.

Каковы были в эту ночь мысли прославленного генерала, одинаково приверженного правам нации и прерогативам короны, чей гармонический союз он, как и многие, мечтал устроить? Молча склонит ли он голову перед бурей, только что разбившей корону Людовика XVI? Должен ли он предать доверие, о котором славно засвидетельствовали семьдесят пять директорий департаментов, одобрив его поведение в июньских событиях? Может ли он отвлечься от голосования Законодательного собрания, которое 8 августа, ещё пользуясь свободой воли, отказалось выдать его якобинским обвинениям и дало ему понять, что рассчитывает на него и его армию в день уже близкого и предвиденного кризиса? Но, с другой стороны, возможно ли ему двинуть на Париж войска, прикрывающие самую угрожаемую границу, и оголить первые крепости перед наступающим врагом? Как и помышлять о каком-либо соглашении с вождями иностранной коалиции в тот самый миг, когда они спешат привести в исполнение ужасные угрозы брауншвейгского манифеста? Может ли он хоть на миг надеяться, что эти вожди, готовящиеся вторгнуться во Францию с открыто провозглашённым намерением восстановить неограниченную власть, согласятся по его просьбе остановиться и уважать границу, пока он успеет восстановить конституционный трон? Неужели ему суждено подать сигнал к гражданской войне? Но разве этот сигнал подан не теми, кто с оружием в руках ворвался в Тюильри? Из-за того, что парижская чернь захватила королевское жилище, из-за того, что она диктует свою волю национальному представительству, — следует ли позволить ей спокойно наслаждаться своим торжеством? Не является ли, напротив, его долгом — ему, генералу Конституции, — пока ещё есть время, сделать последнюю попытку вырвать Францию из смертельных объятий демагогии? Франция, истинная Франция, которая хочет порядка и свободы, разве не призывает его, разве не простирает к нему умоляющие руки?

Эти и тысячи подобных вопросов бурно сталкивались в душе Лафайета, как должны были волновать совесть всякого, кто 10 августа 1792 года держал в руках хоть малейшую частицу государственной власти.

Никогда с начала Революции гражданским и военным должностным лицам всех рангов не приходилось принимать решение в обстоятельствах более трудных и щекотливых. Из всех фаз, через которые прошла Французская революция, та, в которую она вступила 10 августа, была первой, когда законы, признанные всей нацией, оказались сломлены грубой силой. Созыв Генеральных штатов, клятва в Зале для игры в мяч, соединение сословий, взятие Бастилии, переезд королевской семьи в Париж, своего рода нравственное пленение, ставшее его следствием, принятие гражданского устройства духовенства, одобрение договора 1791 года — всё это были события огромной важности; но все они освящались согласием королевской власти, более или менее добровольным, более или менее искренним.

Монарх оставался на троне, последовательно принимая изменения, вносившиеся в неограниченную власть, унаследованную им от предшественников. Государственные служащие, гражданские и военные, могли подать в отставку, если эти изменения им не подходили, и вернуться к частной жизни. Но, оставаясь на местах, куда их поставило доверие короля, они не имели права отказывать в повиновении законодательным мерам, которые сам Людовик XVI укрепил своей санкцией. 10 августа старые права, новый договор — всё было сломано, всё поставлено под вопрос; могли ли те, кто присягал Конституции 1791 года, считать себя освобождёнными от присяги одним тем фактом, что король в плену, а несколько тысяч бунтовщиков правят Парижем посредством террора?

Нам не раз приходилось слышать, как преданные сторонники свободы порицали генерала Лафайета за попытку оказать некоторое сопротивление декретам, которые должны были привезти ему комиссары Законодательного собрания.

Такой упрёк неизбежно предполагает догмат пассивного повиновения — уже не приказам правительства, законно установленного и коему принесена присяга (что и мы могли бы допустить лишь с известными оговорками), но приказам какого угодно правительства, без права оценивать природу этих приказов или качество тех, кто их подписал.

Мы же говорим: гражданское или военное должностное лицо не обязано исполнять любые предписания, которые оно может получать даже от законного правительства, коему присягнуло. Отказ графа д'Ортеза допустить резню Варфоломеевской ночи в городе, охрана коего была ему доверена, освятил законные пределы повиновения. Но если предписания исходят от правительства, насильственно низвергнувшего то, которому присягали, от правительства, которого не признаёшь и признать постыдился бы, — что должен делать государственный служащий? Ему остаётся лишь два выхода: удалиться, предоставив другим исполнять переданные ему приказы, или воспользоваться той долей государственной власти, что находится в его руках, для сопротивления революции или узурпации, только что навязавшей себя.

Пусть же честные люди дважды подумают, прежде чем порицать поведение Лафайета и арденнских магистратов в августе 1792 года.

Деспотизм и демагогия — два имени, которые мы не перестанем ставить рядом, ибо они означают одно и то же под разными названиями, — прекрасно уживаются с теорией, будто успех амнистирует или узаконивает средства. Согласно этой теории, Франция должна была безмолвно подчиниться 10 августа, позднее 31 мая, 18 фрюктидора, 18 брюмера и всем прочим насильственным захватам, которым чернь или солдатчина поочерёдно оказывали поддержку в течение семидесяти лет. Но искренние либералы питают и могут питать лишь весьма умеренное уважение к совершившимся фактам. Они всегда признают за собой право строго обсуждать их нравственность. Они ненавидят внезапные перевороты и не падают ниц перед каждым правительством, о приходе которого им возвещают, как некогда курьеры кабинетов, а ныне — дрожь электрического провода.

10 августа было внезапным переворотом. Эту истину можно было бы оспаривать, если бы этот факт стоял одиноко в истории наших революций, если бы с тех пор мы не были свидетелями и жертвами нескольких подобных переворотов, чьи последствия оказались столь же долговечными и часто столь же пагубными, как последствия 10 августа 1792 года. Но тот был первым, который пришлось претерпеть нации. Можно было надеяться, что она его не примет. Эта надежда и продиктовала поведение Лафайета. Он не знал всего, что можно заставить французов вынести, когда умеешь сперва обмануть их, а затем запугать. Его попытка сопротивления не удалась, но он имел право и основания её предпринять.

Х

Своими замыслами Лафайет прежде всего делится с мэром Седана г-ном Деруссо, с которым ежедневно соприкасался по нуждам своей армии. Заручившись поддержкой этого мужественного и преданного магистрата, он пишет официальное письмо муниципалитету. В нём он излагает, что, поскольку представитель исполнительной власти находится в плену, а законодательная власть поработочена, начальники военной власти должны предоставить себя в распоряжение административных властей, которые ещё существуют и пользуются всей полнотой свободы... что в департаменте Арденн, где расположена главная квартира его армии, первой из этих властей является генеральный совет, заседающий в Мезьере, но что ввиду безотлагательности обстоятельств и до получения его приказов он отдаёт себя и свою армию в распоряжение ближайшей к нему гражданской власти.

По получении этого сообщения мэр немедленно созывает чрезвычайное заседание совета коммуны Седана, и в тот же день (12 августа) совет принимает постановление, которым объявляет:

что ему известно об отстранении короля Законодательным собранием, но что он не может признать законность этого декрета, ибо этот акт находится в явном противоречии с Конститу-

цией, которую все французы поклялись соблюдать; что эта Конституция требует короля из царствующей династии, наследственно и по мужской линии; что она, правда, предусмотрела для исполнительной власти случаи отстранения и отречения, но ни одно из этих положений неприменимо к ныне царствующему королю; что Собрание, издавшее декрет об отстранении, могло так поступить лишь будучи лишено свободы, необходимой для обсуждения; что поэтому, верный своей присяге, он остаётся при решении соблюдать Конституцию во всей её целостности, и постановляет немедленно отправить к совету департамента депутацию с просьбой принять меры, которые он сочтёт самыми скорыми и действенными для сохранения в неприкосновенности залога Конституции[40].

Совет округа Седан ещё более решительным постановлением присоединяется к решению муниципалитета. Заручившись, таким образом, поддержкой обоих административных органов, заседающих в городе, где он находится, Лафайет спешит написать генеральному совету департамента Арденн; он перечисляет мотивы поведения, которого намерен держаться, и предупреждает о скором прибытии комиссаров, взятых из среды Собрания и уполномоченных им добиваться исполнения декретов, которые отсутствие королевской санкции делает совершенно ничтожными. «Конституция, — добавляет он, — объявила, что линейные войска могут действовать внутри королевства лишь по требованию административных органов. Я пришёл стать под начало единственной гражданской, конституционной и неоспоримой власти, к которой могу законно обратиться в данный момент»[41].

Генеральный совет департамента Арденн незадолго до того энергичным воззванием поддержал петицию генерала Лафайета против якобинских происков. Поэтому он без колебаний присоединяется к принципам, изложенным в письме генерала и в седанских постановлениях. Он предписывает приостановить на всей территории департамента обнародование закона 10 августа о временном отстранении исполнительной власти, пока генеральный совет не сможет узнать и оценить мотивы, вызвавшие это отстранение[42].

Тем временем Лафайет издаёт приказ по войскам, в котором призывает их сплотиться, как добрым гражданам и храбрым солдатам, вокруг Конституции, которую они поклялись защищать до смерти[43].

Всем подчинённым ему генералам, в особенности Диллону, стоящему в Пон-сюр-Самбре, и Дюмурье, командующему лагерем в Мольде близ Сент-Амана, он предписывает последовать его примеру, посылает им своё письмо к седанскому муниципалитету, принятое ею постановление и, наконец, приказывает привести все подчинённые им полки к новой присяге на верность Конституции 1791 года — присяге, которая поимённо включала нацию, закон и короля.

В ту самую минуту, когда принимались все эти меры, три комиссара Законодательного собрания покидали Суассон и Реймс (в ночь с 12-го на 13-е), проезжали Ретель и Мезьер, где задерживались лишь на несколько минут, и подъезжали к воротам Седана (утром 14 августа). Едва они появляются, их останавливают и препровождают в зал, где генеральный совет коммун заседал непрерывно. Они называют свои имена и звания, кладут на стол паспорта и полномочия. Но муниципалитет, рассмотрев эти бумаги, отказывается признать полномочия так называемых комиссаров, потому что в момент их выдачи Национальное собрание находилось под давлением мятежной шайки, потому что, кроме того, декрет об отстранении короля самым возмутительным образом нарушает Конституцию, потому что Законодательное собрание, без сомнения, сочтёт своим долгом отменить столь чудовищный акт, как только перестанет быть под ножом убийц, потому что, наконец, если бы так называемые комиссары действительно были депутатами, как они себя именуют, они не приняли бы поручения, разрушающего Конституцию, поручения, стремящегося обмануть народ, возмутить армию и отнять у неё храбрых генералов, которые ею командуют. И тут же постановляется задержать этих так называемых

комиссаров как заложников до тех пор, пока не станет общеизвестно, что король и Национальное собрание свободны и не имеют более оснований опасаться своих притеснителей[44].

Троих депутатов немедленно отводят в Седанский замок и передают под стражу полковника Сикара, которому Лафайет поручил это опасное дело. Затем муниципалитет расклеивает по всем стенам города воззвание к согражданам, в котором предостерегает их против ложных слухов, какие могут распространяться, и напоминает, что полное единение, царящее между всеми жителями Седана и составляющее их силу, должно ещё более окрепнуть, если возможно, в минуты кризиса и бедствий, какие они переживают[45].

Все эти меры немедленно рассылаются советам округа Седан и департамента Арденн, от которых получают полное и безоговорочное одобрение.

Первая весть об этих событиях приходит в Париж утром 17-го сразу с нескольких сторон[46]. Естественно, она вызывает сильнейшее волнение в городе и в стенах Национального собрания. В тот же день Верньо предлагает от имени чрезвычайной комиссии декрет, который немедленно принимается.

Арест комиссаров, постановления коммуны и округа Седан и директории департамента Арденн объявляются актами мятежа, посягательством на свободу, на суверенитет народа и на неприкосновенность его представителей. Вследствие этого:

1° администраторы департамента Арденн и округа Седан, муниципальные чиновники и начальники вооружённой силы этого города объявляются лично ответственными за безопасность и свободу комиссаров Национального собрания;

2° четырнадцать администраторов и генеральный прокурор-синдик департамента Арденн, участвовавшие в постановлении от 15-го числа, и мэр Седана подлежат аресту и препровождению к барьеру Собрания;

3° три новых комиссара, взятых из среды Собрания, немедленно посылаются в Арденны[47] и уполномочиваются требовать там содействия вооружённой силы для обеспечения свободы своих действий;

4° будут считаться бесчестными и предателями отечества гражданские и военные должностные лица и граждане, которые откажутся повиноваться требованиям этих комиссаров[48].

Эти первые меры вскоре показались недостаточными. Известия, ежеминутно приходившие из лагеря Лафайета, всё сильнее раздражали монтаньяров. Раздавались самые яростные предложения против генерала и конституционалистов, ещё несколько дней назад выступавших в его защиту.

«Декрет, оправдавший Лафайета, — восклицал Шабо, — единственная причина происходящего мятежа. — И, повернувшись к правой стороне, добавил: — Да, это вы его устроили, этот мятеж; оправдание Лафайета заставило пролиться кровь в Тюильри; вы покрыты кровью своих сограждан!» Базир предлагал оценить голову генерала и разрешить всякому гражданину преследовать его.

На следующий день, 18-го, Леонар Робен и Шарлье требовали, чтобы все граждане коммуны Седан, офицеры и генералы, находящиеся в этом городе, и даже солдаты волонтёрских батальонов и линейных войск отвечали головой за свободу и жизнь трёх арестованных комиссаров. Мерлен предлагал декретировать, что все члены генерального совета коммуны Седан, подписавшие решение, текст которого только что дошёл до Законодательного собрания, подпадают под меры, уже принятые против мэра этого города, то есть подлежат аресту и препровождению к барьеру.

Все эти предложения одно за другим превращались в декреты[49]. 19-го Собрание декретировало обвинение против Мотье Лафайета, бывшего генерала Северной армии, как подозреваемого в преступлении мятежа против закона, заговоре против свободы и измене нации; одновременно оно запретило административным органам, муниципалитетам и прочим государственным служащим оказывать ему содействие и повиноваться его требованиям, а всем

хранителям государственных средств — производить какие-либо выплаты по его ордерам под страхом быть объявленными сообщниками мятежа[50].

XI

Тем временем Лафайет, верный начертанному им плану, не сдвигал с места ни одного из своих батальонов и не предпринимал никаких военных демонстраций в направлении Парижа. Все свои надежды он возлагал на нравственное движение, сигнал к которому подал и которое рассчитывал увидеть распространившимся до самых окраин Франции. Он разослал каждому члену Законодательного собрания, всем директориям департаментов, а также главным муниципалитетам королевства акты, которыми арденнские власти объявляли, что не признают более декретов, исходящих от Собрания, находящегося под ножами убийц. Он предполагал, что депутаты правой стороны сумеют ускользнуть от надзора новых властителей Парижа и соберутся вокруг него, чтобы образовать собрание, которое вскоре вся страна, по призыву своих департаментских властей, признает своим единственным законным представительством. К несчастью, ни одно из предвидений генерала не должно было сбыться. Если в первый день войска, непосредственно ему подчинённые, встретили его прокламации с воодушевлением, то части, стоявшие на удалённых от Седана квартирах, отнеслись холодно и даже враждебно к увещаниям, переданным им его помощниками. Поскольку часть его войск стояла лагерем в департаменте Эна, Лафайет счёл нужным обратиться к тамошней директории, чтобы получить от неё те же распоряжения, что и от арденнской. Он тем более рассчитывал на успех этого шага, что генеральный совет Эны незадолго до того подписал и обнародовал весьма резкое воззвание против событий 20 июня, даже присвоил себе знаменитое постановление департамента Сомма и также отправил в Париж уполномоченных, которым поручалось заботиться о безопасности королевской особы.

Тем не менее администраторы департамента Эна не сочли возможным после 10 августа упорствовать на том пути, которого, казалось, готовы были держаться после 20 июня. Далеко не оказав доброго приёма призывам конституционного генерала, они приказали всем национальным гвардейцам арестовывать Лафайета, где бы его ни встретили, и содержать под крепкой и надёжной стражей, пока Национальное собрание не решит, какому трибуналу его следует предать. Одновременно они предписали вооружённой силе задержать полковника Ланглуа[51], привёзшего им письма генерала, и поспешили препроводить копии своих решений генералу Диллону, чьи войска были расквартированы в их департаменте[52].

Диллон повиновался приказам, полученным ещё 12-го от своего начальника. Он привёл свои войска к присяге на верность Конституции 1791 года, закону, нации, королю и даже издал по войскам весьма резкий приказ против событий 10 августа и их виновников[53]. Но постановление департамента Эна заставило его задуматься: он тотчас отрёкся от своих слов и прервал всякие сношения с главнокомандующим.

В Меце Люкнер, на чьё содействие Лафайет рассчитывал, ограничился стенаниями против покушений 10 августа и пересыпал свой немецкий жаргон двусмысленными фразами о якобинцах. Но он не действовал и, по-видимому, не хотел действовать. К тому же бывший мэр Меца Антуан вернулся с декретом, восстанавливавшим его в должности и распускавшим генеральный совет департамента Мозель. Всякий замысел конституционного сопротивления с этой стороны, таким образом, уничтожился. Отовсюду приходили гибельные для Лафайета и его решительных сторонников вести. Повсюду, казалось, покорялись совершившемуся факту. Наша страна всегда одинакова. При новом, как и при старом порядке, после Революции, как и до неё, за одним только Парижем, по-видимому, признаётся право давать Франции пароль.

В тот самый день, когда Собрание декретировало против него обвинение (19 августа), Лафайет узнал из донесений своего штаба, что солдаты, состоящие под его непосредственным началом, готовы схватиться друг с другом. Одни намеревались защищать его любой ценой; другие, казалось, готовы были выдать его связанным по рукам и ногам, как их приглашало

к тому постановление департамента Эна. Несчастный генерал отныне не мог удерживаться в принятой им позе законного сопротивления. Чтобы избавить собственную армию от страшного испытания междоусобной борьбы, ему оставалось одно: уклониться самому и увести с собой наиболее скомпрометированных друзей от проскрипционного декрета, которого он ещё не мог знать, но легко мог предвидеть.

Перед отъездом он принял самые тщательные военные предосторожности, чтобы войска оставались в безопасности на занимаемых позициях. Желая также оградить ответственность магистратов, связавших себя с его делом, он составил прошение, помеченное задним числом, в котором объявлял себя единственным виновником всего, что с 10 августа говорилось и делалось вокруг него против декретов Законодательного собрания[54].

Затем под предлогом проведения рекогносцировки он направился к Бульону, крайнему пограничному пункту; там он отослал свой эскорт и ординарцев и обратился к седанскому муниципалитету и своей армии с благородными и печальными прощальными письмами, в которых отразились скорбные чувства, волновавшие его душу[55].

Лафайет и его друзья рассчитывали добраться до Голландии, а оттуда в Англию или Америку; но в Рошфоре, небольшом городке, принадлежавшем тогда к Льежскому епископству и находившемся, следовательно, на нейтральной территории, они были схвачены австрийскими передовыми постами. Генерал Муатель, которому следовало бы принять их как знатных изгнанников, объявил им, что они военнопленные.

В то время как во Франции демагогия преследовала их как презренных рабов деспота, а на чужой земле прислужники деспотизма карали их за то, что они были творцами Декларации прав человека, конституционные генералы и офицеры, попавшие в руки помощников Брауншвейга, не отреклись от своей политической веры. В достойном и твёрдом протесте они засвидетельствовали свою непоколебимую преданность делу свободы и наложили неизгладимое клеймо на чело державы, нарушившей в их лице международное право.

«Рошфор, 19 августа.

Нижеподписавшиеся, французские граждане, исторгнутые властным течением чрезвычайных обстоятельств из счастья служить, как они не переставали делать, свободе своей страны, не имея возможности долее противиться нарушениям Конституции, установленной в ней национальной волей, заявляют: что их нельзя рассматривать ни как военных-неприятелей, ни тем более как ту часть их соотечественников, которую интересы, чувства или мнения, совершенно противоположные их собственным, побудили связаться с державами, воюющими с Францией, но как иностранцев, требующих свободного прохода, обеспеченного им международным правом, которым они воспользуются, дабы скорее достигнуть территории, чьё правительство не находится в настоящее время в состоянии враждебности против их отечества»[56].

Австрийские генералы неоднократно пытались вытянуть из генерала Лафайета и его спутников сведения о положении и силе французских армий, но постыдно провалились в этих попытках. Пленников отвезли в Намюр, а оттуда в Нивель. В этом последнем городе их разделили на три категории: офицеры, которые принадлежали и всегда принадлежали к армии; те, кто служил в национальной гвардии; наконец, четверо бывших членов Учредительного собрания — гг. де Лафайет, Сезар де Латур-Мобур, Бюро де Пюзи и Александр Ламет[57]. Первых отпустили с запретом оставаться в стране; вторых заточили в антверпенскую цитадель, откуда они вышли через два месяца. Что касается последних, с ними обошлись с крайней суровостью. Переданные, неизвестно почему, австрийцами прусскому королю, они были последовательно заключены в цитадели Везеля, Нейсе и Глаца. Когда Пруссия заключила в Базеле (1795) мир с Францией, эта держава передала знаменитых пленников Австрии[58], которая ещё более двух лет продержала их в ольмюцских тюрьмах. Они вышли оттуда лишь при заключении прелиминариев Кампо-Формио и по прямым и настоятельным ходатайствам генерала Бонапарта.

Все должны быть согласны в оценке акта, жертвами которого стали Лафайет и его спутники со стороны иностранных держав в августе 1792 года. Эти добровольные изгнанники, хотя и были офицерами французской армии, не могли считаться военнопленными, поскольку сами сложили с себя командование и утратили всякий военный характер. Однако по приказу своих государей коалиционные генералы называли их так, не обращаясь с ними соответственно. Военнопленных не отпускают без обмена и без условий. Между тем 18 из 21 спутника Лафайета были освобождены либо сразу, либо через два месяца. Пленным офицерам, взятым у неприятеля, стараются по возможности облегчать неволю. Лафайета же и трёх его друзей прусские и австрийские тюремщики в течение пяти лет содержали с чрезвычайной суровостью. Их оставляли без книг, без перьев и бумаги, без сношений с внешним миром, без вестей от семей. Дело в том, что на самом деле они были государственными преступниками. Европейские деспоты считали их виновными в величайшем преступлении — в желании установить в своём отечестве мудрую и умеренную свободу и в том, что они не отреклись ни от одного из своих убеждений. Это настолько верно, что герцог Саксен-Тешенский уже в первые дни плена велел передать генералу Лафайету следующее:

«Поскольку глава французского мятежа, вынужденный покинуть отечество из-за того самого народа, которому он внушил бунт, попал в руки союзных держав, его будут держать в заточении, пока его государь по своему милосердию или правосудию не решит его участь».

Таким образом, король Пруссии и австрийский император собственной властью и вопреки международному праву становились мстителями за частные ссоры французского короля. Думая услужить злопамятству, которое в иную пору королева Мария-Антуанетта могла проявлять против Лафайета и некоторых членов Учредительного собрания, они делались тюремщиками, можно сказать палачами тех, кто только что пожертвовал своими чинами, состоянием, семьями, настоящим и будущим ради защиты трона Людовика XVI и прав его сына[59]. Надобно громко провозгласить: плен Лафайета и его друзей в казематах Пруссии и Австрии был одной из величайших гнусностей той эпохи, когда Европа считала всё дозволенным против Французской революции. Их освобождение, выговоренное победоносным участником переговоров в Кампо-Формио, — один из поступков, делающих ему величайшую честь; он свидетельствует о благородной заботе о праве, которой слишком часто недоставало императору Наполеону в генерале Бонапарте.

ХII

Весть об отъезде Лафайета достигла Законодательного собрания вечером 21-го. Она избавила от последних тревог тех, кто только что разрушил конституцию. Ласурс, за несколько дней до 10 августа произнёсший против генерала настоящий обвинительный акт, тотчас потребовал, чтобы торжественным постановлением имя беглеца было предано проклятию французской нации. Мерлен из Тьонвиля пошёл дальше и предложил снести дом Лафайета, а на его месте воздвигнуть колонну с надписью, которая передала бы потомству память о преступлении[60]. Парижская коммуна приказала разбить на эшафоте рукой палача угол медали, отчеканенной в честь создателя национальной гвардии по распоряжению прежней муниципальности[61].

Секция Моконсей постановила, что знамя, подаренное Лафайетом бывшему батальону Сен-Жак-л'Опиталь, будет протаскано до Карусели и торжественно сожжено вместе с чучелом, изображающим предателя. Прах от этого аутодафе надлежало развеять по ветру[62].

Комиссары, заключённые в Седане, были освобождены уже утром 20 августа. Получив полное и безоговорочное подчинение муниципалитета, а также совета округа и генерального совета департамента Арденн, они написали Законодательному собранию, прося не приводить в исполнение декреты, изданные против этих трёх административных органов, вставших на путь раскаяния. Счастливое тем, что победа досталась без боя, Собрание удовлетворило просьбу своих комиссаров[63].

Другие комиссары, посланные к армиям, далеко не встретили таких затруднений при исполнении своей миссии.

Дельмасу, Бельгарду и Дюбуа-Дюбе было поручено осмотреть части, стоявшие на границе между Дюнкерком и Мобёжем. Они направились в Камбре[64] и Валансьен. Прибыв в этот последний город, они вызвали к себе Артюра Диллона и Дюмуре[65].

Дюмуре почти сразу после выхода из министерства был отправлен в лагерь Мольд, составлявший крайний левый фланг Северной армии. С самого приезда он постарался стать независимым и вступил в открытую ссору со своими начальниками Диллоном и Лафайетом. Пока последний писал министру[66], прося извинить его от Дюмуре, Дюмуре писал Собранию с доносом на Лафайета. Его поощрял и подстрекал в этом один из самых дерзких вождей партии Горы. Кутон, уже несколько лет страдавший полным параличом ног, за месяц до 10 августа приехал на воды в Сент-Аман, расположенный совсем рядом с лагерем Мольд, и поспешил сблизиться с бывшим министром иностранных дел Людовика XVI.

В сущности, монтаньяры не слишком сердились на Дюмуре.

Разве не он способствовал более всех 14 июня падению жирондистов, которых они ненавидели больше всех своих противников? К тому же разве Дюмуре не явился к якобинцам и не надел красного колпака? Разве он не показал во многих случаях, что не имеет ни принципов, ни совести? Не достаточно ли этого, чтобы заслужить прощение и даже милость ультрареволюционеров?

Дюмуре уже ни на что не надеялся со стороны двора, с которым совершенно порвал после ухода из министерства; поэтому он был вполне готов броситься в новые авантюры. Вот почему при первой вести о 10 августа он без колебаний решительно высказался за совершившуюся революцию и обещал Законодательному собранию поддержку своей шпаги.

Дюмуре начал политическую карьеру под покровительством жирондиста Жансонне, сопровождавшего его в миссии в Вандею (1791). Теперь же перед монтаньярами за него ручался один из их корифеев — Кутон[67]. Предусмотрительный генерал, имея, таким образом, друзей в обеих партиях, которые начинали обрисовываться и вскоре должны были оспаривать друг у друга власть, надеялся лавировать достаточно искусно, чтобы достичь цели своего честолюбия: не пройдёт и года, как стать вершителем судеб Франции.

Диллон, получив депеши Лафайета, тотчас, как мы видели, издал приказ по войскам, которым, казалось, хотел связать свою судьбу с судьбой начальника. Эта прокламация, помеченная Пон-сюр-Самбром, была разослана офицерам, командовавшим в Валансьене, Ландреси и Мобёже. Полковники и генерал-адъютанты Шазо, Зельмидер, Фуассак и Лану прочли её перед строем своих батальонов, а затем стали ждать дальнейших приказов генерала Диллона. Но позиция директории департамента Эна и прибытие трёх комиссаров в Валансьен сильно поколебали его первоначальные намерения. Вызванный комиссарами Собрания, он написал им, что задержан в лагере тревожными движениями неприятеля, но вскоре явится на их вызов. Вскоре, узнав, что Дюмуре высказывается за революцию и что войска довольно холодно встретили его приказ, он решился повиноваться требованиям трёх комиссаров.

Дельмас, Бельгард и Дюбуа-Дюбе не сочли нужным слишком глубоко докапываться до его поведения и первоначальных намерений; но, чтобы прочнее втянуть его в новый путь, которому он, казалось, был готов следовать, они вручили ему формальное предписание, гласившее, что он отныне не должен повиноваться приказам генерала Лафайета, не должен более переписываться с генералами других армий и отряжать куда-либо части, находящиеся под его началом. Диллон согласился на всё, чего от него требовали, и стал превозносить новый режим с таким же воодушевлением, с каким двумя днями ранее следовал внушениям Лафайета. Однако несколько копий его первого приказа были отправлены прямо в Собрание[68], и оно поспешило декретировать, что генерал Диллон утратил доверие нации. При этом известии Диллон шлёт протест за протестом, всячески заявляет, что был обманут Лафайетом, что признаёт свои

проступки и сумеет их загладить. Но тщетно. Собрание не сочло возможным полагаться на него в осуществлении мер, которые готовилось принять против мятежного генерала. 17 августа, в тот самый день, когда комиссары, находившиеся в Валансьене, вручали Диллону своё предписание и его временное назначение на пост главнокомандующего, Законодательное собрание вверяло Дюмуре командование всеми армейскими корпусами, разбросанными по границе от Дюнкерка до Меца. Диллона оставили во главе его дивизии, но подчинили Дюмуре. Новый главнокомандующий получил своё назначение 18 августа вечером; он тотчас отправил своего помощника Мячинского принять командование войсками, расквартированными в департаменте Арденн, обещая вскоре присоединиться к нему. Затем он обратился к Собранию с самыми горячими благодарностями за оказанное доверие, клянясь действовать со всей энергией против генерала и гражданских властей, которые осмелились поднять преступную руку на представителей нации, облечённых властью, перед которой всё должно склоняться!

Восемь месяцев спустя Дюмуре приказывал арестовать комиссаров Конвента почти в том самом месте, откуда датировал письмо, в котором провозглашал ненарушимое всемогущество уполномоченных Собрания.

ХІІІ

Карно, Кустару и Приёру из Кот-д'Ора был поручен осмотр армий от Бича до Безансона. Они просили и добились, чтобы к ним присоединили депутата от Эльзаса Риттера, чьё знание языка, людей и местных дел могло быть им весьма полезно.

Они направились прямо в главную квартиру Бирона в Висамбуре. За несколько лет до того, когда его звали Лозеном, этот генерал был вхож в ближний круг королевы; с тех пор он бросился в объятия якобинцев. Поэтому нельзя было сомневаться в его готовности высказаться в пользу революции 10 августа. Но некоторые члены его штаба были, как тогда говорили, довольно подозрительной гражданской благонадёжности. Вот почему представители, едва прибыв, собрали всех офицеров армейского корпуса, стоявшего в Висамбуре, велели вслух прочесть полномочия, полученные ими от Собрания, и задали каждому из присутствовавших вопрос:

«Подчиняетесь ли вы просто и безоговорочно декретам Национального собрания? Да или нет?»

«Да, без оговорок», — отвечал Бирон. Несколько высших офицеров, в том числе начальник штаба генерал Виктор де Брольи и командир инженерного батальона Каффарелли Дю Фальга, высказали энергичные оговорки. Каффарелли формально заявил, что не признаёт всемогущества Собрания в вопросах, по которым оно недавно высказалось, — отстранение исполнительной власти, заключение короля и т. д., что он намерен действовать против возмутителей всякого рода и даже пошёл бы против внутренних врагов и против Парижа, если бы ему приказали.

Комиссары тотчас отстранили этих двух офицеров и нескольких других, последовавших их примеру[69].

Из главной квартиры Бирона они направились в Лотербур, в главную квартиру Келлермана; там все офицеры принесли требуемую присягу. В Ландау их принял Кюстин и велел своим войскам встретить их с воодушевлением. Только два полковника выказали явное несогласие с декретами 10 августа — гг. Жозеф де Брольи и де Вилантруа. Они были немедленно отрешены от должностей и арестованы. Г-на де Вилантруа заменил Ушар, будущий победитель при Ондскоте[70]. Комиссары Рейнской армии завершили поездку, проехав через Юненг и Безансон. В первом из этих городов они отстранили от должности лагерного маршала, бывшего учредителя Ришельё д'Эгийона, который уже 17 августа присоединился к Виктору де Брольи в протесте против декретов 10-го числа[71].

Три комиссара Южной армии — Гаспарен, Руйе и Лакомб-Сен-Мишель, чьи полномочия простирались от Безансона до Вара, — не встретили на своём пути никаких препятствий. В

лагере Сесье близ Бургуэна они нашли генерала Монтескью вполне готовым признать декреты Собрания и заставить свою армию рукоплескать им; несмотря на этот блистательный приём, комиссарам пришлось отстранить и заменить множество офицеров, подозреваемых в негражданских настроениях.

Протесты, множившиеся, так сказать, под ногами комиссаров, посланных к разным армиям, не могли успокоить Собрание. 20 августа по докладу Ласурса оно издало следующий декрет:

«Все главнокомандующие, генералы и прочие офицеры всех чинов, отрешённые или отстранённые либо исполнительной властью, либо комиссарами Национального собрания, либо самим Национальным собранием, обязаны немедленно удалиться на расстояние не менее двадцати льё от той армии, при которой состояли, и не приближаться на меньшее расстояние к другим армиям под страхом задержания на всё время войны. Вследствие этого они обязаны удостоверить перед исполнительной властью место своего жительства заявлением муниципалитета».

Комиссарами, которым было поручено осмотреть армию Люкнера, были, как помнится, Керсен, Перальди и Антонель, арестованные Лафайетом. После освобождения они поспешили вернуться в Париж, доложили обо всём, что с ними произошло, и не смогли довести свою миссию до конца. Их заменили Лапорт, Ламарк и Брюа[72]. Но когда те прибыли в Мец, командование армией, стоявшей лагерем в окрестностях города, только что перешло из рук Люкнера в руки Келлермана.

Люкнер своими колебаниями и двусмысленными письмами[73] внушил величайшее недоверие. Поэтому никто не удивился, когда военный министр 23 августа объявил Национальному собранию, что отнял у маршала командование Центральной армией и заменил его Келлерманом. Но тот согласился лишь при условии, что Люкнер будет назначен генералиссимусом. Войска были очень привязаны к старому герою Семилетней войны, и в этот момент кажущейся скудости искусных генералов они доверяли лишь тем из начальников, кто уже вёл большую войну. Чтобы не раздражать их, исполнительная власть согласилась на это требование. Главная квартира нового генералиссимуса была устроена в тылу восточных армий, в Шалоне-на-Марне. Ему дали особое поручение сформировать резервную армию и содействовать своими советами военным операциям; но на деле ему нечего было делать, и назначение имело одну цель — прикрыть его опалу.

Итак, через десять дней после 10 августа, через четыре месяца после создания армий, которым было поручено оборонять нашу территорию, значительная часть офицеров, руководивших этим созданием, была вынуждена покинуть родину или была насильственно отстранена от командования. На первый план выходили другие люди, которым предстояло недолго пользоваться всеми милостями популярности. Дюмуре, Монтескью, Келлерман, Бирон, Кюстин, Ушар, Мячинский назывались неподкупными, истинными патриотами, несокрушимыми опорами республики, которая ещё не была провозглашена, но вскоре должна была быть.

Через год Дюмуре, счастливый защитник аргоннских теснин, и Монтескью, завоеватель Савойи, были объявлены вне закона и бежали. Бирон, Кюстин, Ушар, Мячинский, проливавшие кровь в двадцати сражениях, были возведены на эшафот под крики «Долой изменников!». Один Келлерман был предназначен для более счастливой участи и должен был впоследствии получить из рук того, кто в ту пору был ещё лишь молодым командиром артиллерийского батальона, также весьма проникнутым идеями дня, титул герцога Вальми — титул, напоминавший одновременно о его республиканском происхождении и об имперском величии.

Примечания:

[1] Мы рады засвидетельствовать здесь наше полное согласие с писателем, чьи утверждения и доктрины нам столь часто приходится оспаривать. Г-н Луи Блан, завершая свою «Историю Революции» (т. XII, с. 601), восклицает: «Конвенту было суждено завещать будущим поколениям навсегда памятный пример опасности этого исполненного убийств софизма: *Спасение народа — высший закон*. — Я говорю *софизм*, ибо спасение народа на деле всегда означает спасение той или иной нации в тех или иных обстоятельствах, и, конечно, нет такой нации, чьё спасение стоило бы принести в жертву хотя бы один из принципов, представляющих для человечества постоянный, неизменный, вечный интерес».

[2] Постановление от 11 августа 1792 г. *Парламентская история* Бюше и Ру, т. XVII, с. 49.

[3] Постановление от 24 августа.

[4] Постановление от 12 августа. *Парламентская история* Бюше и Ру, т. XVII, с. 51.

[5] Бурбонский дворец до эмиграции был жилищем принцев Конде; он далеко не включал нынешних построек, возведённых при Первой империи и последующих правительствах.

[6] *Собрание законов*, 1792 г., т. X, с. 128.

[7] Шабо взялся доставить целыми и невредимыми пленных, направляемых в тюрьму Аббатства; он ручался головой за малейшую царапину, которая могла бы быть им нанесена. Этот бывший капуцин, забывший обет христианского смирения, не любил, чтобы малейшие его дела и поступки проходили незамеченными; он сам брал на себя труд составлять свидетельства о своём мужестве и красноречии, которые ему выдавали, и затем собственноручно клал их на стол председателя. Мы нашли те, что он составил и положил 11 августа 1792 года. Они целиком написаны его рукой.

«Г-н Франсуа Шабо, депутат Национального собрания, комиссар, назначенный им для защиты офицеров и солдат-швейцарцев, взятых под стражу после вчерашнего дня, приказал препроводить в своём присутствии и в присутствии муниципальных чиновников Парижа и Нёйи (следуют имена пятнадцати швейцарцев, из которых девять названы капралами, сержантами и фурыерами), каковые были приняты в означенную тюрьму Аббатства вечером сего дня привратником означенной тюрьмы, чья подпись служит распиской лицам, которым поручено их сопровождение.

В удостоверение расписки,

Подписано: ЛАВАКИР, помощник секретаря.

Париж, 11 августа, год IV».

На обороте написано:

«Мы удостоверяем, что пятнадцать пленникам не было нанесено по пути никакого оскорбления, что они были доставлены целыми и невредимыми в тюрьмы Аббатства и что народ был поражён всем, что г-н Шабо говорил ему об уважении, должном лицам, собственности, закону и праву народов.

Подписано: ФРАНСУА ШАБО, депутат; ЖЕРАР, мэ; ГАРДОЛЬ, муниципальный чиновник Парижа; РУРЖО; РОБЕР ПИКОЛЕ, муниципальный чиновник Нёйи; АЛЛЕМАН, НОЛЛЬ.

Париж, 11 августа, десять часов вечера, год IV».

Эти последние имена принадлежат двум несчастным швейцарцам, входившим в состав конвоя. Имена пятнадцати швейцарцев, приведённых Шабо вечером 11 августа, все встречаются в погребальных списках, составленных в Аббатстве после сентябрьской резни.

В Бурбонский дворец последовательно отправляли швейцарцев, оставшихся для охраны казарм в Рюэйле и Курбеуа, и отдельных швейцарцев, случайно проживавших в других ком-

мунах. Мы держали в руках счета, представленные поставщиками, которым было поручено продовольствие швейцарцев Бурбонского дворца; в первый день этих пленников было сто двенадцать; через несколько дней их число возросло до двухсот сорока шести. Декрет от 20 августа разрешил офицерам, унтер-офицерам и солдатам, служащим в швейцарских полках, оставаться, если они того пожелают, на французской службе с сохранением чинов, но с обязательством принести присягу 10 августа; большинство швейцарцев Бурбонского дворца воспользовались этой возможностью. Поэтому Коммуна и не указала на них убийцам, которых 2 сентября послала в Аббатство.

В конце этого тома читатель найдёт заметку о различных особенностях, относящихся к швейцарским полкам, входившим в состав французской армии и распущенным в силу вышеупомянутого декрета от 20 августа.

[8] Несчастный Петион, который сам утром 10 августа попросил подвергнуть его своего рода домашнему аресту, находил, что его освобождать не слишком-то торопятся. Ему, естественно, не терпелось насладиться плодами победы, которой столь сильно способствовало его преступное бездействие. Нижеследующая записка, посланная им комиссарам повстанческой Коммуны и счастливо нами найденная, показывает, как мало его сообщники заботились о нём с тех пор, как перестали нуждаться в прикрытии складками его народного шарфа:

«Национальное собрание, господа, издало вчера декрет о снятии караула, установленного в мэрии. Между тем караул до сих пор не снят, поскольку меня не желают выпускать; однако все мы должны повиноваться декретам Собрания. Вследствие этого прошу вас, господа, соблаговолить отдать необходимые распоряжения, дабы я мог свободно отправиться туда, куда призывает меня мой долг, и в особенности к барьеру Национального собрания».

[9] *Moniteur*, с. 949.

[10] *Moniteur*, с. 950.

[11] Мы нашли черновик письма, которое Петион адресовал комиссарам повстанческой Коммуны, резюмируя советы, данные им устно, когда он на мгновение появился среди них, но не осмелился вновь занять председательское кресло собрания, принадлежавшее ему, однако, по полному праву. Читая эти советы, начинаешь смеяться от жалости к тому, кто их давал, если он мог хоть на миг вообразить, что к ним прислушаются:

«Господа и коллеги,

общественный интерес и ваша слава требуют, чтобы вы с твёрдостью и благоразумием довели до конца великое предприятие, столь мужественно вами начатое. Я скажу истину людям, достойным её услышать. Первые минуты требовали большой поспешности в мерах. Нынешние допускают больше рассмотрения и обсуждения. Суть не в том, чтобы делать много, а в том, чтобы делать хорошо; воодушевлением совершаются великие дела, но сохраняются они разумом, а любимыми их делает справедливость. Не следует думать, будто всякая гражданская мысль должна тотчас становиться предметом постановления и будто частное пожелание одной секции должно превращаться в общегородскую волю. Мы должны хотеть всего доброго, но надобно отличать то, что мы вправе делать сами, от того, что вне наших полномочий. Мы находимся в том счастливом положении, что Национальное собрание желает спасения народа и действует с энергией. Стало быть, оно всегда готово освятить все средства общественного благоденствия, какие ему будут представлены. Итак, надлежит идти вместе с ним, под его эгидой; примем в наших собраниях внушительную осанку; будем обладать спокойствием мужества и достоинством свободных людей; забудем наше самолюбие, чтобы думать лишь о любви к общественному благу. Лишь бы благо совершалось — не всё ли равно, кто его совершил? Всё предвещает нам счастливейшую развязку; свобода — наша. Она наша всецело, если мы сумеем следовать за ней в её развитии и сохранить её. Комиссары 92-го года займут в истории место столь же почётное, как выборщики 89-го».

[12] *Журнал Клуба якобинцев*, № CCXXXVII.

[13] Председательство в период с 10 августа по 22 сентября окончательно или временно исполняли Гюгенен, Люлье, Мари-Жозеф Шенье, Ксавье Одуэн, Леонар Бурдон, Була, Трюшон. Рукописные приказы и постановления, бывшие у нас в руках, носят то одну, то другую из этих подписей.

[14] Коммуна ещё больше, чем Законодательное собрание, старалась стереть в формулах и памятниках последние следы королевской власти. Одни она меняла, другие уродовала. Так, она заменила слово «господин» словом «гражданин» во всех официальных актах, призвала различные власти последовать её примеру и приказала уничтожить все отличительные знаки. Так, она постановила, что от СЧАСТЛИВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 10 АВГУСТА должна начинаться новая эра, и датировала свои постановления «годом I Равенства». Так, она велела снести статуи Людовика XIV и Генриха IV, разбить бюсты Неккера, Лафайета и Байи и распорядилась снести ворота Сен-Мартен и Сен-Дени. (Эти два последних памятника были спасены благодаря счастливому вмешательству литератора Дюссо.)

Желая всё более отличаться от законной Коммуны, чью власть она узурпировала, она предписала каждой секции быть представленной в её лоне шестью комиссарами вместо трёх.

Демагогический синедрион насчитывал с тех пор 288 членов; для его пополнения понадобилось три дня, ибо некоторые секции назначили своих делегатов лишь 12-го и даже 13 августа.

Любопытно изучать день за днём изменения, которые повстанческая Коммуна последовательно вносила в наименования, какими считала нужным себя наделять. 10-го узурпаторы именуют себя «комиссарами большинства секций, соединившимися с неограниченными полномочиями для спасения общественного дела»; 11-го — «общим собранием комиссаров, соединившихся от различных секций столицы, составляющих большинство Коммуны»; 12-го — «общим собранием представителей Парижской коммуны, соединившихся для общественного спасения». 13-го, видя, что их полномочия уже оспариваются в Национальном собрании, и желая самоутвердиться, они наконец принимают титул «Генерального совета Коммуны».

Назначения, сделанные секциями 11, 12 и 13 августа, привели в Ратушу лишь очень немногих лиц, уже приобретших или долженствовавших впоследствии приобрести известную известность. В этой толпе мы можем назвать лишь Робеспьера, Шометта, Меэ-сына, Дестурнеля, Бийо-Варенна, Паша, Шодерло-Лакло; да и эти двое последних появились там лишь на мгновение.

[15] Г-жа Огье, одна из камеристок королевы, передала 11 августа Марии-Антуанетте двадцать пять луидоров (у королевы украли кошелек и часы при переходе с террасы Фельянов в зал Собрания). Пятнадцать месяцев спустя, на процессе несчастной принцессы, на заседании зашла речь об этих двадцати пяти луидорах. Мария-Антуанетта, не предвидя опасности, которой подвергала г-жу Огье, сообщила, каким лицом и при каких обстоятельствах они были ей переданы. (См. процесс королевы, *Парламентская история* Бюше и Ру, т. XXIX, с. 376; из-за опечатки имя Огье искажено — написано Огёль.) Это доказательство преданности стоило жизни несчастной г-же Огье. Комитет общей безопасности выдал ордер на её арест; но в ту минуту, когда её пришли арестовывать, она бросилась из окна своей квартиры и разбилась насмерть. Одна из дочерей г-жи Огье десять лет спустя вышла замуж за маршала Нея. Реставрация, по-видимому, не вспомнила о преданности и смерти матери маршалыши, ибо пренебрежение, которое та испытала в 1814 году при дворе Людовика XVIII, немало способствовало, как говорят, глухому раздражению кипучей души князя Московского и толкнуло его в ужасную пропасть, открытую его прокламацией в Лон-ле-Сонье. Брат Людовика XVI и дочь Марии-Антуанетты должны были бы в 1816 году вспомнить все эти обстоятельства; герой русской кампании, сколь бы виновен он ни был, не пал бы под французскими пулями.

[16] За всеми прочими подробностями относительно первых дней плена королевской семьи — у Фельянов и в Тампле — мы отсылаем к столь интересному и трогательному труду,

который г-н де Бошен посвятил памяти Людовика XVII. Мы считаем нужным ограничиться тем, что приведём в конце этого тома несколько официальных документов, дополняющих сведения, собранные г-ном де Бошеном.

[17] Нам представляется необходимым представить читателям самый текст закона от 13 августа, который показывает меру унижения, до которого дошло Законодательное собрание перед своей всемогущей соперницей. Читая его мотивировочную часть, можно подумать, что закон составлен самим Робеспьером.

«Национальное собрание, принимая во внимание, что в нынешних обстоятельствах необходимо упростить обычный ход административных органов столицы, избавить представителей Парижской коммуны от всех помех, могущих приостановить или замедлить исполнение мер, действие коих может произвести лишь быстрота, — декретирует, что случай не терпит отлагательства.

Национальное собрание, декретировав безотлагательность, постановляет, что администрация Парижского департамента прекращает осуществлять надзор, предоставленный ей, над всеми актами общей безопасности и полиции, совершаемыми представителями Парижской коммуны, и что впредь по этим предметам представители Парижской коммуны будут сношаться непосредственно как с законодательным корпусом, так и с исполнительной властью».

[18] Мы нашли письмо, написанное Дюпортейлем в ту самую минуту, когда он узнал, что Законодательное собрание предало его суду. Письмо это слишком хорошо показывает, с какой безмятежной и даже весёлой решимостью некоторые люди принимали грозные условия той эпохи, чтобы не привести из него главнейшие отрывки.

«Париж, 22 августа.

Ты, без сомнения, был очень удивлён, мой дорогой друг, увидев меня преданным суду Собранием; я удивлён не меньше тебя и до сих пор ищу, что могло дать к тому повод... Говорят, Собрание приняло это решение на основании записки, найденной в Тюильри, из которой явствует, что министры вместе с влиятельными членами Национального собрания имели сношения с эмигрантами или действовали против Конституции и т. д. Казалось бы, первое, что надлежало сделать Собранию, — вызвать бывших министров и посмотреть, признают ли они записку, подписана ли она ими и т. д. Тогда, дойдя до меня, я доказал бы им, что мне все эти факты совершенно неизвестны, что я не принимал никакого участия ни в какой работе, ни в каком плане означенного рода, что, если и были совещания об этих предметах, я на них никогда не бывал. Я вызвал бы их найти хоть одно слово моей руки или с моей подписью, подтверждающее их подозрения, и вызвал бы кого угодно обвинить меня таким образом хотя бы с тенью правдоподобия. Тогда они, по-видимому, нашли бы, что для обвинения нет оснований; но было гораздо короче разрубить так, как они это сделали... Если мне суждено быть судимым, и судимым просвещённым, справедливым и свободным судом, мне нечего бояться. Я даже выйду с честью из этого испытания... Если же моя участь будет зависеть от суда совсем иного рода, что ж, надобно смотреть на это происшествие, как на опасность быть убитым разбойниками: в лесах подвергаешься этой опасности, но это не мешает путешествовать весело».

[19] Эти комиссары были носителями постановления следующего содержания:

«МУНИЦИПАЛИТЕТ ПАРИЖА

14 августа 1792 г.

Собрание назначило гг. Бурсье и Дестурнеля комиссарами, дабы они немедленно отправились в Национальное собрание с требованием сообщить Парижской коммуне декрет, относящийся к военному суду.

Подписано: ШЕНЬЕ, председатель; ТАЛЬЕН, секретарь».

[20] Заседание 14 августа утром. *Moniteur*, с. 965.

[21] Робеспьер весь заключён в этой речи и особенно в этой фразе: «Лафайета не было в Париже, но он мог там быть». Будущий революционный трибунал также весь заключён в поло-

жениях, предложенных оратором. Можно сказать, что имя Робеспьера кровавыми буквами вписано во все фазы истории революционного трибунала: это он 15 августа 1792 года принёс его первую мысль в Законодательное собрание, он добился его учреждения 10 марта 1793 года, он усовершенствовал его 22 прериаля II года (11 мая 1794 года).

[22] Это воззвание находится в *Moniteur*, с. 969, и в *Парламентской истории* Бюше и Ру, т. XVII, с. 86.

[23] Мотивировочная часть декрета от 15 августа, отменяющего кассационное обжалование, составлена так:

«Национальное собрание, принимая во внимание, что преступления, совершённые в день 10 августа, слишком многочисленны, чтобы приговоры по ним могли произвести то действие, которого ждёт от них общество, а именно действие примера, если эти приговоры останутся подлежащими кассации...»

Какой жалкий предлог и какая ужасающая логика!

[24] По поводу этой речи авторы *Парламентской истории*, т. XVII, с. 89, ставят два вопроса: 1) Кто был оратором 17 августа — Робеспьер или другой муниципальный чиновник? 2) Какую версию этой речи следует принять — версию *Moniteur* или версию *Patriote français*, гораздо более умеренную?

Нам посчастливилось найти самую рукопись речи, подписанную оратором и положенную им на стол председателя. Нельзя обвинять Робеспьера в произнесении этой дерзкой речи; быть может, он её составил — этого мы сказать не можем; но рукопись подписана именем весьма безвестным — Венсан Олливо, муниципальный чиновник. Этот Венсан Олливо принадлежал к секции Четырёх Наций (см. *Парламентскую историю*, т. XVI, с. 420). В революционных летописях он фигурирует лишь в этом достопамятном случае.

Что касается самой речи, то она содержит и фразы, приводимые *Moniteur*, и фразы, приводимые *Patriote français*. Эта последняя газета, бывшая органом жирондистов, позаботилась изъять самые резкие места, чтобы смягчить тяжесть позорного поражения, только что понесённого её покровителями.

[25] Мы держали в руках протокол избрания трибунала 17 августа; он удостоверяет, что 17 августа, в десять часов вечера, тридцать три выборщика собрались в одном из залов городского дома и что тридцать семь избраний, произведённых особым и поименным голосованием, завершились 18-го, в шесть часов утра. Из тридцати трёх выборщиков по меньшей мере шестеро сами избрали себя на должности, зависящие от нового трибунала, а именно: Ослен, Дюбай и Пепен-Дегруэт — судьями; Пердри — одним из председателей жюри; Мюло (из Анже) — запасным судьёй, и Арди — секретарём. Ещё одним из восьми избранных судей был Лаво, присутствовавший на выборах как заместитель прокурора Коммуны.

[26] Ныне большой зал Кассационного суда. Этот зал служил не только для заседаний трибунала 17 августа, но и позднее для заседаний революционного трибунала.

[27] В конце этого тома читатель найдёт несколько документов, относящихся к образованию трибунала 17 августа, в частности: протоколы введения в должность обвинительного жюри и трибунала; письмо знаменитого Жака Ру, священника-отступника и муниципального чиновника, который в минуту отправления Людовика XVI на эшафот отказался принять завешание несчастного монарха. В этом письме он жалуется Дантону, министру юстиции, что его исключили из списка присяжных, которым надлежало заседать при новом трибунале.

[28] Письмо, помещённое в *Moniteur* в номере от 28 августа, с. 1022.

[29] Робеспьеру следовало бы вспомнить об этом торжественном исповедании веры, когда четыре месяца спустя он был призван решать участь несчастного Людовика XVI, чьим постоянным противником и ожесточённым врагом он был; но противоречия и отречения ничего не стоили этому трибуну, которого иные писатели без конца восхваляют за непреклонность убеждений.

[30] См. депешу, прочитанную Мерленом из Тьонвиля и датированную Мецем, 15 августа. *Moniteur*, с. 972.

[31] См. донос, который Саладен, один из депутатов Соммы, подал на это постановление. *Moniteur*, с. 978.

[32] См. письмо комиссаров Собрания при Рейнской армии, подписанное Карно, Приёром и Риттером. *Moniteur*, с. 1012.

[33] *Moniteur*, с. 984. Мы нашли письмо генерала д'Арамбура, командовавшего в Верхнем Рейне. Мы приводим его в конце этого тома; оно показывает, каковы были истинные настроения этого департамента и, можно сказать, значительной части Востока. Оно тем более примечательно, что лицом, выступившим в тот момент перед генералом д'Арамбуром выразителем пожеланий департамента Верхний Рейн, был Ребелль, который, избранный в Конвент месяц спустя, голосовал за смерть короля и этим залогом, данным Республике, приобрёл право войти в первый состав Директории, где он постоянно представлял якобинскую фракцию.

[34] Реестр постановлений исполнительной власти; заседание 25 августа 1792 г.

[35] Заседание 16 августа. *Moniteur*, с. 970.

[36] *Moniteur*, с. 979.

[37] См. оба доклада Ролана. *Moniteur*, с. 966 и 996.

[38] Мы приводим этот рассказ в конце тома; он послужил основой для гораздо более пространного рассказа, прочитанного в Собрании Кондорсе 12 августа и помещённого в *Moniteur*, с. 960. Вот самый текст письма, которое комиссары написали в этом случае Петиону:

«Национальное собрание, господин мэр, только что назначило двенадцать комиссаров, которым поручено отправиться в различные армии, дабы разрушить замыслы злонамеренных и дабы армии, узнав о событиях нынешнего дня и мерах, только что принятых Законодательным корпусом, остались верны посту, на который отечество поставило их для общей безопасности империи.

Назначенные комиссары полагают, что нет ничего опаснее, как излагать события этого дня противоречивым образом; вследствие этого вас просят распорядиться составить завтра утром пораньше краткий отчёт о том, что произошло сегодня в столице. Что касается Законодательного корпуса, достаточно будет взять извлечение из его протокола.

Остаёмся по-братски, господин мэр, и т. д.

Комиссары: Дюбуа-Дюбе, Карно, Дельмас, Кустар, Дебельгард, Перальди, Антонель.

Париж, 10 августа 1792 года, год IV, половина одиннадцатого вечера».

[39] Лафайет был настолько подозрителен в глазах победившей партии, что она не стала дожидаться первых известий о седанских событиях, чтобы обнаружить свои подозрения. Мы видели, как Робеспьер, выступая от имени Коммуны, обличал Лафайета перед Собранием 15 августа. Уже 14-го исполнительный совет заносил свидетельство своих подозрений в реестр своих постановлений.

«Второе заседание, 14 августа 1792 г.

Гг. Ролан, министр внутренних дел;

Клавьер, министр налогов и временно военный;

Дантон, министр юстиции;

Монж, морской министр;

Лебрен, министр иностранных дел.

Собравшись все в особняке министра юстиции в семь часов вечера, заслушали чтение декрета Национального собрания от 10 августа, которым предписывается комиссарам, взятым из его среды, отправиться в армии.

Совет принял во внимание, что инструкция, приложенная к этому декрету, уполномочивает комиссаров принимать в отношении генералов и офицеров армий все необходимые меры, отстранять их или заменять сообразно тому, чего требуют обстоятельства; что право,

принадлежащее исполнительному совету, увольнять и назначать генералов не может в данный момент осуществляться одновременно с той же властью, переданной означенным комиссарам; что, однако, совет, будучи убеждён в необходимости отстранить от командования Северной армией генерала Лафайета, который явно утратил доверие нации, вследствие этого постановляет, что он откладывает окончательное отрешение г-на Мотье Лафайета лишь до того момента, пока комиссары не сообщат о своём прибытии в армию, которой командует этот генерал».

[40] Четырьмя членами седанского муниципалитета, которым было поручено отвезти в Мезьер выписку из этого постановления для утверждения её генеральным советом департамента, были гг. Деруссо, Эдуар Беше, Легардёр-старший и Терно.

[41] Текст письма генерала Лафайета генеральному совету Арденн находится в *Moniteur*, с. 992.

[42] Все эти постановления никогда не были опубликованы. Читатель найдёт их в конце этого тома.

[43] Этот приказ по войскам находится в *Moniteur*, с. 978.

[44] *Moniteur*, с. 980, приводит постановление коммуны Седана. Мы сравнили его версию с подлинным текстом этого постановления; она отличается от него лишь незначительными деталями.

[45] *Moniteur*, с. 980, содержит изложение этой прокламации. Полностью она приведена в оправдательных документах этого тома.

[46] Письмо, датированное Валансьеном, 15 августа, подписанное тремя комиссарами при Северной армии, сообщает об аресте трёх их коллег, произведённом утром 14-го в Седане. Видно, с какой быстротой эта новость преодолела пятьдесят льё, разделяющих эти два города.

[47] Этими тремя новыми комиссарами были Инар, Кимет и Боден (из Арденн).

[48] *Moniteur*, с. 976.

[49] *Moniteur*, с. 978 и 980. *Собрание законов*, 1792, т. X, с. 444 и 474.

[50] В то же время, когда Законодательное собрание декретировало обвинение против генерала Северной армии, его Комитет общей безопасности выдал ордер на арест г-жи де Лафайет, которую предполагали в Гавре готовой сесть на корабль в Англию. Мы считаем нужным привести самый текст этого приказа:

«Комитет общей безопасности Национального собрания,

принимая во внимание, что командование Северной армией отнято у г-на Лафайета временной исполнительной властью и вверено г-ну Дюмуре, что г-ну Лафайету было приказано немедленно явиться к исполнительной власти для отчёта в своём поведении, что он не повиновался этим приказам и, напротив, остаётся во главе своей армии и задерживает всех курьеров, которых к нему посылают; принимая во внимание, что г-н Лафайет только что предан суду и что различные документы свидетельствуют о формальном неповиновении г-на Лафайета прежним декретам Законодательного корпуса, что есть основание опасаться, как бы он не ввёл в заблуждение окружающих его солдат и не довёл их до крайностей, вредных для общественного блага; что это делает необходимыми для нации заложников, способных либо привести г-на Лафайета к повиновению законам, либо ответить за его деяния в противном случае; принимая во внимание также, что существуют сильные подозрения в заговоре с целью отвезти короля в Гавр, куда несколько генералов, в том числе гг. Лафайет и Ламет, отправили вперёд своих жён, что могло бы подвергнуть этих последних мести народа; принимая во внимание, наконец, что Национальное собрание дало Комитету общей безопасности право арестовывать подозрительных лиц лишь для всемерного ускорения общественного спасения и что заложник, близкий г-ну Лафайету, представляется совершенно необходимым в нынешних обстоятельствах, —

Комитет предписывает вооружённой силе и всем гражданам, находящимся в состоянии реквизиции, схватить и арестовать в Гавре или где бы то ни было даму де Лафайет и препроводить её от бригады к бригаде в Париж с детьми и слугами, которые будут при ней, дабы она оставалась там заложницей впредь до нового распоряжения; приглашает граждан, которые её арестуют и будут сопровождать, оказывать всю предупредительность, должную полу и женщине, которой не вменяется никакого личного преступления, всеми возможными средствами заботиться о её безопасности и о том, чтобы ей не было нанесено никакого оскорбления, и опечатать её бумаги, дабы в таком виде передать их Комитету.

Составлено в Комитете общей безопасности и т. д., 19 августа 1792 года, год IV свободы.

Подписано: ВАРДОН, ГРАНЖЕНЁВ, БАЗИР, секретарь Комитета общей безопасности».

Г-жа де Лафайет спокойно находилась в своём имении Шаваньяк в Оверни, пока её искали в Гавре. Там она и была арестована, доставлена в тюрьмы Пюи, а оттуда в Париж. Провидение пощадило её от революционного топора, тогда как её бабка, маршалыша де Ноай, её мать, герцогиня д'Айен, и её сестра, виконтесса де Ноай, погибли на эшафоте. Через несколько месяцев после 9 термидора приказ Комитета общей безопасности (13 плювиоза III года), подписанный Арманом, Вердоном, Лежандром и Буденом, предписал её освобождение. Она воспользовалась им, чтобы немедленно отправиться с двумя дочерьми разделить в Ольмюце плен генерала, дав миру великолепный пример супружеской любви, тогда как её супруг давал не менее великий пример гражданского мужества, отказываясь купить свободу ценой своих убеждений.

[51] Приказ об аресте полковника Ланглуа, изданный департаментом Эна, не был исполнен благодаря не известному нам обстоятельству. Полковник смог присоединиться к своему генералу и доложить ему о неудаче своей миссии. Мы видим этого офицера в числе друзей Лафайета, арестованных 19 августа на австрийских передовых постах.

[52] Письмо генерала Лафайета департаменту Эна и постановление этой директории, объявляющее, что нет оснований ему подчиняться, находятся на с. 992 *Moniteur*.

[53] Этот приказ генерала Диллона находится в *Moniteur*, с. 969. Он был отправлен в Собрание генералом Дюмуре, находившимся тогда под началом Диллона, которому тот его переслал.

[54] Это требование, датированное 13 августа, находится на с. 1000 *Moniteur*.

[55] Письмо седанскому муниципалитету было напечатано в *Moniteur* на другой день после того, как дошло до Собрания (заседание 21 августа, с. 1000). Прощание Лафайета с армией было напечатано лишь гораздо позднее, под рубрикой «Брюссель». (*Moniteur* от 20 сентября 1792 г., с. 1119.)

[56] Из остатка стыдливости якобинцы позволили опубликовать этот протест, появившийся в «Лейденской газете» 30 августа. Он воспроизведён в *Moniteur* от 8 сентября 1792 г. и подписан: Лафайет, Сезар Латур-Мобур, Александр Ламет, Ломой, Дюрур, Массон, Сикар, Бюро де Пюзи, Виктор Латур-Мобур, Виктор Гувьон, Ланглуа, Сьонвиль, В. Руржан д'Агрэн, Л. Ромёф, Кюрме, Жилле, Лаколомб, В. Ромёф, Шарль Латур-Мобур, Ал. Дарбле, Суберан, Кадиньян.

В конце этого тома мы собрали документы, какие смогли разыскать о лицах, подписавших этот памятник мужества и верности.

[57] Александр Ламет служил в армии Лафайета, но в корпусе, который под началом Диллона занимал берега Самбры. Он был предан суду 15 августа вместе с Барнавом и несколькими министрами Людовика XVI. Жандармы, которым был поручен его арест, искали его в Мобёже, Рокруа, Мезьере, куда он отправился по служебным надобностям, не зная об угрожавшей ему участи. В этом последнем городе, когда жандармы предъявили свои паспорта и приказы, муниципалитет отказался оказать им содействие в миссии, которую объявил незаконной, поскольку она была дана Собранием, которое, вопреки Конституции, объявило об отстранении

королевской власти. Благодаря этому отказу Александр Ламет смог присоединиться к генералу Лафайету в Бульоне в ту минуту, когда тот готовился перейти границу. (*Moniteur*, с. 1007.)

Другому другу Лафайета, полковнику Даверулю, повезло меньше. Мы уже имели случай говорить о мужестве, проявленном им в Законодательном собрании во время событий 20 июня. Вскоре после этого он подал в отставку и отправился в свой полк, находившийся в окрестностях Седана. В ночь на 19 августа, в сопровождении одного лишь слуги, он пытался догнать своего генерала, когда в лесах Сюньона, на дороге из Вринь-о-Буа в Сен-Менж, в одном льё от Бельгии, его настигли таможенники; не желая живым попасть в руки врагов, он выстрелил себе в голову, но умер не сразу и скончался лишь через несколько дней в деревне, куда его перенесли. (*Moniteur*, с. 1005.)

[58] В январе 1796 г. на дочь Людовика XVI обменяли четырёх конвентских депутатов, выданных Дюмуре, — Камю, Кимета, Ламарка и Банкаля, бывшего военного министра Бернонвиля, знаменитого Друэ, бывшего почтмейстера, арестовавшего Людовика XVI в Варенне и попавшего в руки австрийцев, наконец, двух полномочных министров — Маре и Семонвиля, захваченных на швейцарской территории. Французское правительство той поры не занялось ни Лафайетом, ни его друзьями и с расчётливым умолчанием предоставило Австрии волю применять к ольмюцким узникам те невероятные строгости, рассказ о которых можно найти в «Мемуарах» Лафайета и в столь интересном труде, в котором г-н Жюль Клоке описал частную жизнь прославленного генерала.

[59] Невозможно понять, даже в том круге понятий, в каком стоял герцог Саксен-Тешенский, шурин Марии-Антуанетты, те строгости, которые были применены к Латур-Мобуру, проявившему во время поездки в Варенн особенно нежную почтительность к королевской семье, а также к Александру Ламету, который, пока его арестовывали в Нивеле как мятежника против своего короля, был предан суду за то, что был одним из ближайших советников Людовика XVI. Ламет, правда, был освобождён после всего лишь двух лет плена, незадолго до того, как его товарищи по несчастью были переведены в Ольмюц.

[60] *Moniteur*, с. 1002.

[61] *Moniteur*, с. 1011.

[62] Реестр постановлений секции Моконсей (28 августа).

[63] Это дело, казавшееся, таким образом, совершенно законченным, было возобновлено восемнадцать месяцев спустя (апрель 1794 г.) по приказу Комитета общей безопасности Конвента, хотя никакой новый факт не воскресил памяти о нём. Муниципальные чиновники Седана и администраторы департамента Арденн были преданы революционному трибуналу и приговорены к смерти. Этому печальному эпизоду истории Террора мы посвящаем заметку в конце тома.

[64] Их первое письмо к Собранию датировано 13 августа из Камбре. (*Moniteur*, с. 966.)

[65] Дюмуре находился под началом Диллона, своего старшего по чину, как генерал-лейтенант.

[66] Лафайет с достаточным основанием заявлял, что не может иметь под своим началом генерала, которого в письме от 16 июня назвал «самым гнусным из интриганов»; он жаловался также, что пределы его командования не были точно определены, что подвергало его опасности стать вдруг, по крайней мере нравственно, ответственным за решения генерала, который мог безнаказанно нарушать его приказы.

[67] Мы нашли письмо Кутона от 19 августа 1792 г., которым он, так сказать, ручается за Дюмуре. *Moniteur* (с. 1002) довольствуется его изложением; мы сочли, что этот документ не должен пропасть для истории, и приводим его в конце тома.

[68] См. в *Moniteur*, с. 975 и 995, помимо вышеупомянутого письма Дюмуре, письма муниципалитета Ландреси и округа Дуэ.

[69] В конце этого тома читатель найдёт заметку о нескольких офицерах, отстранённых после событий 10 августа. Большинство этих офицеров позднее вернулись в ряды армии, в частности Каффарелли Дю Фальга, о котором сами комиссары заявили в своём докладе (см. *Moniteur*, с. 987), что он пользуется выдающейся репутацией благодаря своим личным достоинствам, патриотизму и даже философским принципам. Известно, что Каффарелли Дю Фальга умер во время Египетской экспедиции под Сен-Жан-д'Акром, осадой которого руководил.

Виктору де Брольи повезло меньше. Вернувшись к частной жизни, он восемнадцать месяцев спустя был выдан Комитету общей безопасности. Против него собрали свидетельства Карно, Приёра (из Кот-д'Ора) и Риттера (четвёртый комиссар, Кустар, сам погиб на эшафоте), и на основании этих документов революционный трибунал приговорил его к смерти 9 мессидора II года (27 июня 1794 г.). В конце этого тома читатель найдёт самый текст заявления, которое Виктор де Брольи передал 16 августа в руки Бирона, и три свидетельства, отправленные в Комитет общей безопасности Карно, Приёром и Риттером в ту самую минуту, когда начался процесс Виктора де Брольи.

[70] См. доклад комиссаров при Рейнской армии. *Moniteur*, с. 1012.

[71] Мы приводим в конце этого тома самый текст письма, направленного Ришельё д'Эгийномом в Собрание и направленного против деспотизма, который, уничтоженный в 1789 г., готов беспрестанно возрождаться в иной форме. Ничто не изображает лучше перемену, происшедшую в духе века, чем эти протесты против деспотизма, подписанные внучатым племянником кардинала Ришельё, сыном фаворита Людовика XV и друга г-жи Дю Барри.

[72] Эти новые комиссары были назначены 20 августа (см. *Moniteur*, с. 995) по докладу чрезвычайной комиссии. Они приняли отставку некоторого числа офицеров армии Люкнера, которые также сочли, что присяга, принесённая ими Конституции 1791 г., не позволяет им приносить требуемую от них новую присягу. Среди этих отставок одна поразила нас прежде всего, потому что она столь же проста, сколь и благородна, и потому что она подписана именем, которое уже более ста лет является во Франции символом самоотвержения и мужества, — именем д'Ассаса. Мы приводим её в конце тома.

[73] См. письма Люкнера, которые военный министр оглашал в Собрании на заседаниях 17 и 23 августа. *Moniteur*, с. 979 и 1009.

КНИГА X. — ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ И КОММУНА.

I. Марат грабит национальную типографию и проповедует убийства. — II. Постановления и декреты против неприсягнувших священников. — III. Траурная церемония в честь погибших 10 августа. — IV. Коммуна противится восстановлению департамента. — V. Трибунал 17 августа. — Процессы Лапорта, Дюрозуа, Монморена и др. — VI. Национальная оборона. — VII. Взятие Лонгви. — Речь Дантона. — VIII. Домашние обыски. — IX. Коммуна, обличаемая некоторыми секциями. — X. Дело Жире-Дюпре. — Законодательное собрание распускает Коммуну. — XI. Законодательное собрание настаивает на своём декрете. — XII. Петион попадает в ловушку. — XIII. Манифест Коммуны.

I

Торжество революции 10 августа отныне обеспечено. Демагогический ураган пронёсся над всей Францией и сломил всякое сопротивление — личное и местное.

Адреса с изъявлениями преданности начинают стекаться на стол председателя Законодательного собрания. Каждое народное общество вменяет себе в честь получить одним из первых то почётное упоминание, которое щедро даруется в начале протокола всем так называемым патриотическим исступлениям.

Мы взяли на себя труд стряхнуть пыль, вот уже семьдесят лет покрывающую эти объёмистые папки, перечитать дифирамбы в прозе и стихах, которые революция 10 августа сумела внушить якобинскому красноречию[1].

Мы могли сравнить их с теми, что были адресованы Конвенту на другой день после последовательной победы каждой из фракций, которые в течение двух лет Террора проходили через власть, чтобы кончить на эшафоте, — и были просвещены! Всё та же ненависть к поверженному тирану, то же обожание добродетельного мужа, который появляется и вот-вот возродит мир; всё та же глупая и напыщенная фразеология для выражения тех же восторгов. Подышав несколько часов этой атмосферой низости и раболепия, испытываешь ужасную тошноту, навсегда проникаешься отвращением к этим цветам политической риторики, которые распускаются с каждым восходом солнца, расцветают при блеске каждой новой власти и которые собирают, чтобы поднести любому победителю, поклонники совершившегося факта, всегда готовые с одинаковым воодушевлением и неутомимым раболепием склоняться к стопам его преосвященства Деспотизма или его превосходительства Черни.

Из всех угодливых льстецов нового государя никому не удалось снискать его благосклонность лучше, чем Марату. Благодаря своим злобным диатрибам против Лафайета и двора гнусный борзописец был провозглашён пророком, в ожидании, пока его произведут в боги.

Ни одна из парижских секций не имела бесстыдства избрать его своим представителем в Ратуше; но генеральный совет Коммуны торжественным решением предоставил ему особую трибуну в зале своих заседаний, и если он не заседал среди двухсот восьмидесяти восьми членов Коммуны, то подсказывал им самые неистовые предложения.

Марат был из тех, кто умеет пользоваться победой партии, которой он служил своим пером, если не рукой; ибо в опасные часы он внезапно исчезал, забываясь в глубину своего погреба. Как только прекратилась ружейная пальба, он явился заявить Коммуне, что фельяны и роялисты некогда лишили его печатных станков и что, следовательно, справедливо, чтобы нация их ему возвратила. Снабжённый предписанием муниципального наблюдательного комитета, он отправился с несколькими санкюлотами из своих друзей в национальную типографию, помещавшуюся тогда в Лувре, и захватил там четыре станка и большое количество шрифтов.

Это дерзкое вторжение в государственное учреждение, ни в каком отношении не зависевшее от Коммуны, было доведено до сведения чрезвычайной комиссии и вызвало с её стороны громкие крики. Марат лишь посмеялся над этим гневом. Он дошёл до такой наглости, что потребовал от директора типографии вернуть ему некоторые принадлежности, которые забыл унести. Директор, Аниссон Дюперрон, поспешил предупредить Собрание, дабы оно позаботилось спасти от разграбления национальное учреждение, которое по особому декрету должно было работать непрерывно днём и ночью.

Чрезвычайная комиссия обратилась с запросом к прокурору-синдику Коммуны Манюэлю. Тот клялся всеми святыми, что совершенно не знает о случившемся и что он тотчас покарает расхищения, совершённые под прикрытием муниципальности[2]. Однако ничего сделано не было.

Да и кто осмелился бы напасть на Марата в ту самую минуту, когда он призывал так называемый им народ вооружиться, идти к Аббатству, вырвать оттуда изменников, особенно швейцарских офицеров и их сообщников, и предать их мечу. «Какое безумие, — осмеливался он печатать в своей газете, — какое безумие хотеть судить их! Суд над ними уже совершён. Вы взяли их с оружием в руках против отечества; вы перебили солдат; почему же вы щадите их офицеров, несравненно более виновных?»[3]

II

Пока Марат открыто проповедует убийство заключённых, Коммуна занимается наполнением тюрем[4]. Своему наблюдательному комитету, обычному поставщику этих печальных мест, она даёт окончательную организацию. К нему стекаются доносы, принимаемые днём и ночью в комитетах каждой из сорока восьми парижских секций.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.